

Борис ХАЗАНОВ

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

роман

*...praesens autem si semper esset praesens
nec in praeteritum transiret, non iam esset
tempus, sed aeternitas.*

Beati Augustini Confess. XI, 14¹

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I А. Я. в овальной раме

15 сентября 1936

Две ночи поднимаются навстречу друг другу, одна на Западе, другая на Востоке, чтобы, соединившись, слиться в одну безбрежную ночь.

Это ночь забвения.

Забывается всё; забудут и нас, и тех, кто нас забудет. Назвать ли эту историю поучительной? Мы грезили будущим, не чувствуя затхлый запах, который оно издает, не замечая, как будущее разлагается на ходу; мы жили будущим и чуть ли не в самом будущем, а оно тем временем превратилось в прошлое; так уличный светофор переключается с зелёного на красный, не успев загореться жёлтым.

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. Пишущий эти строки, может быть, единственный, кто её помнит.

Уже в те времена никаких ворот не существовало, не осталось деревьев на Садовом кольце; смутно помнится Сухарева башня, слышны звонки трамвая; на углу Мясницкого проезда в керосиновой лавке продают керосин; всё ещё кажется очень высоким дом Ефремова, цитадель воровского и нищенствующего сброда, ещё не снесён двухэтажный особнячок на площади Красных Ворот – там, говорят, родился Лермонтов.

Что касается переулка, то здесь ничего не менялось, по крайней мере, за последние пятьдесят лет. Возможно, этим объясняются некоторые кажущиеся несообразности в рассказах Анны Яковлевны.

¹ ...настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью. *Исповедь Бл. Августина*, кн. XI, 14 (лат.).

«Veuillez avoir l'obligeance de ne pas mettre vos pieds sur le canapé². Я на нём сплю».

Некто в ботинках, не однажды побывавших в починке, в бумажных чулках на резинках, которые выглядывают из-под коротких штанов, ёрзает на её антикварном ложе.

«Должно быть, поэтому, — она вздыхает, — мне так часто не спится. Так теперь принято: есть не за столом, спать не на кровати...»

«А сны тебе снятся?»

«Иногда. Но я догадываюсь, почему ты спрашиваешь. Ты хочешь сказать, что это был сон».

Писатель радостно кивает.

«Так вот, к твоему сведению: ничего подобного. Это не сон. Лежу, ворочаюсь с боку на бок... Нет, думаю, не уснуть».

Квартира Анны Яковлевны находится на первом этаже. Тусклая лампочка озаряет могильным светом коридор, двери, за которыми прячутся жильцы, и массивный сундук, похожий на небесный камень Кааба. Никто не решается убрать его с дороги или попросту вынести на свалку, никто не «поднимает вопрос». Смутная догадка владеет жильцами, что сундук охраняет квартиру от несчастий. Ключ от всячего замка давно потеряян, никто не знает, что хранится в сундуке, скорее всего он пуст. Изредка на нём ночует какой-нибудь гость из провинции.

Но на самом деле ключ не пропал. Он хранится в шкатулке, а шкатулка лежит в хрустальном гробу. Гроб — на дне океана. И не где-нибудь, а на дне самой глубокой в мире Филиппинской впадины. Недавно экспедиция в батискафе опустилась на самое дно и убедилась, что он там. Вещи живут тёмной жизнью, более долговечной, чем жизнь людей.

В старых квартирах обыкновенно бывают высокие потолки. Последний раз потолок белили в год отречения императора Николая Второго. Рядом с лампочкой висит колокольчик звонка, на стене справа от входа — счётчик Сименс-Шуккерт, оба слова с твёрдым знаком на конце; встав на цыпочки, можно увидеть, как в окошке вращается диск с красной меткой. Висит объявление: экономьте электричество, каллиграфический почерк Анны Яковлевны угадать нетрудно. Ей же принадлежит ряд других воззваний. Если по дороге на кухню вам понадобится зайти в закуток и, накинув крючок на дверь, усесться, вашему утомлённому взору предстанет наставление, как вести себя в местах общественного пользования: спускать за собой воду, не оставлять брызги на крышке стульчака, не засиживаться, читая во время отправления естественных нужд художественную литературу.

Библиотека помещается тут же, в нише перед пыльным окошком, выходящим на лестничную площадку: Ник. Огнев, «Дневник Кости Рябцева», некогда чрезвычайно модное произведение; его же, «Исход Никпетожа»; Юрий Либединский, «Неделя»; «Княжна Джаваха», роман дореволюционной писательницы Чарской. А также разрозненные номера журнала «Красная Новь», самоучитель игры на гавайской гитаре и ряд других сочинений. Некоторые книги сохранились частично или представляют собой пустые картонные обложки: все страницы использованы. Библиотека регулярно пополняется.

При входе в квартиру первая дверь направо — жилплощадь Анны Яковлевны. Одно из ключевых слов эпохи. В словаре можно найти поясняющие его фразеологические обороты. Площадь предоставляется. Её занимают, уплотняют или освобождают. Остался без площади. За отсутствием площади. Прописан на чьей-то площади и проч. Окно смотрит во двор, похожий на все московские дворы. Вещи живут долго, но всё же не бесконечно, зато голоса, улыбки, запахи живы и тогда, когда ни от людей, ни даже от вещей ничего не осталось. От диванной материи

² Убедительная просьба не забираться с ногами на диван (фр.)

восхитительно пахло куревом. Вся стена над спинкой дивана была увешана портретами в круглых, овальных, прямоугольных рамках и рамочках, в мундирах и туалетах последнего царствования. Фотографиями был уставлен и комод, там среди прочих помещалась сама хозяйка, какой она была, по удачному выражению поэта, *в те баснословные года*.

«Нет, — сказала она, — я же вижу, что ты мне не веришь. Я не могу рассказывать, когда мне не верят!»

Томительная пауза; Анна Яковлевна устремила надменный взор в пространство; ты помотал головой, что могло означать и опровержение, и согласие. Ясно, по крайней мере, что главное в историях Анны Яковлевны — это занимательность, а не достоверность. Ноги в ботинках торчат над краем дивана, ты весь ожидание.

«Так вот... — глубокий вздох, — на чём я остановилась... Делать нечего. Дай, думаю, пройдусь... Подышу свежим воздухом. Выхожу. Дивная тишина. В небесах торжественно и чудно. Кто это сказал, тебе известно?»

Писатель надул щёки, выпучил глаза. Энергично кивнул и издал непристойный звук.

«Фу!» Анна Яковлевна облила презрением собеседника, и на некоторое время вновь воцарилось молчание.

«Между прочим, он родился в двух шагах от нас...»

Можно было бы и не намекать на двухэтажный домик Лермонтова: знаем; каждый знает.

«Тут рядом и Пушкин жил — в Харитоньевском. В раннем детстве».

«Дальше», — сказал писатель.

«Дай, думаю, прогуляюсь...»

«Это ты уже рассказывала».

« Попрошу меня не торопить! Горят фонари, во всех домах темно. И такое чувство, как будто я куда-то попала, где до сих пор никогда не была. Как будто я в царстве умерших...»

«Такой сон, да?»

Она фыркнула. Неужели мы настолько выжили из ума, что не в состоянии отличить сон от действительности? И потом, если не спится, то какой же это может быть сон. Анна Яковлевна сунула в рот папироску, потрясла коробком перед ухом, есть ли ещё спички.

«Фу. — Она с наслаждением затянулась, выпустила дым к потолку и помахала рукой в воздухе. — Можешь ли ты мне сказать, кто изготавливает эти отвратительные папиросы?»

«Дукат».

«Qu'est-ce que c'est que ce Дукат?»

«Фабрика, — сказал он небрежно. — Там написано».

II Древо корнями кверху

14 сентября 1936

Итак, что же произошло? Анна Яковлевна вышла из подъезда, одиночество охватило её, словно порыв ветра. Перед ней короткий Боярский переулок вёл направо к недавно сооружённой станции метро, налево уходил Большой Козловский. Напротив — красивый особняк и стена чехословацкого посольства. Жёлтые конусы света покачиваются под тарелками ночных фонарей, прохладно, зябко. И тут внезапно донеслось цоканье подков по булыжной мостовой.

Не зря сказано кем-то: наш мир — сновидение без сновидца. Но это не был сон. Это ехал извозчик.

Это был могиканин почти уже вымершей профессии. Вдалеке, на пересечении Большого Козловского с Большим Харитоньевским, выехал из-за угла и погромыхивал навстречу музейный экипаж. Конь стал, перебирая копытами. Некто в картузе с высоким околышем, с бородой, расчёсанной на обе стороны, повернул из коляски клокатые брови к Анне Яковлевне. Не подкажешь ли, мать, где тут церковь Харитония. Анна Яковлевна была вынуждена ответить, что церкви больше нет. Куды ж она делась? Снесли.

«Ты знаешь, что это была за церковь? – Мальчик помотал головой. – Вот видишь, я, наверное, последняя, кто ещё помнит. В этой церкви венчался Боратынский, был такой поэт».

Эва, сказал мужик в картузе, вот так новость; а это что за улица? Анна Яковлевна назвала наш переулок. Ба, уж не тот ли; да ведь он-то мне и нужен.

Мужик стал вылезать, пролётка накренилась под его тяжестью, лошадь переступила ногами. Возница по-прежнему неподвижно возвышался на облучке. Бородатый гость шагал животом вперёд, он был невысок, дороден, суров. Квартира спала, и никто не узнал о визите. На цыпочках в полутьме Анна Яковлевна прокралась на кухню, поставила медный чайник на керосинку, заварила чай в пузатом фарфоровом чайничке с покаленным носиком. Гость сидел на диване под фотографиями, расставив ноги в портах дорогого сукна и высоких смазных сапогах. Обнажив лысую голову, пил вприкуску, отдуваясь, держа блюдечко на растопыренных перстах. Важно кивнул, услышав, что хозяйка покупает чай на Мясницкой в знаменитом «китайском» магазине. От Высоцкого, стало быть. Она возразила, магазин был перловский. Как же, закивал гость, ещё бы не знать: Перлов Сергей наша родня.

«Интересно всё же. – Анна Яковлевна держит на отлёте курящуюся дымком папироску, разглядывает пустую пачку. – Дукат... это от ducatum, что означает герцогство. Какой же, спрашивается, герцог, да и просто порядочный человек, решится взять в рот эту дрянь?.. Vous êtes fou, ты с ума сошёл! – зашипела она, когда, улучив момент, писатель нацелился выхватить папиросу из её пальцев. – Убери руки. Твоя мама и так недовольна, что ты торчишь у меня целыми часами...»

«А я уже пробовал», – гордо сказал он.

«Пробовал, что это значит?»

«На даче. Из листьев».

«Вот как. Из каких это листьев?»

Разговор о родне продолжался, полуночный гость допил последнюю чашку, перевернул и положил на донышко огрызок сахара. Как если бы время замедлило бег, всё ещё было далеко до рассвета. От ближних родичей и свояков перешли к предкам, подтвердились предания. Прадед-татарин родом из Бугульмы, расторопный мужик по прозвищу Козёл, накопил деньжат, выкупился у барыни и в столицу прибыл в самую удачную пору: только что французы оставили Москву. Земля была дешёва. Он купил участок, разобрал пепелище и построил доходный дом. Потом ещё один, завёл торговлю, обзавёлся знакомствами, связями, под конец жизни был уже купцом второй гильдии. С тех пор переулок называется Козловским.

Выходит, подмигнув, сказал гость, мы с тобою сродственники. Белая кость, она из чёрной произошла.

«А у тебя какая кость?» – спросил мальчик.

«Белая. У всех людей кости белые. Это просто так говорится».

Она объяснила – впрочем, знала это и раньше: из всего козловского потомства в живых остались сын и дочь. Козлов-младший был дедушкой ночного визитёра, то, что этот гость в самом деле посетил Анну Яковлевну, не подлежало сомнению: «вот тут сидел, где ты сейчас сидишь». А дочь вышла замуж за барона Терентия Карловича фон Тарнкаппе.

Тут пошли разного рода генеалогические подробности, хитренькая усмешка показалась на увядшем лице Анны Яковлевны.

«Между прочим, говорят... хотя, конечно, проверить не так просто... Одним словом, считается, что барон Тарнкаппе был внебрачным отпрыском – угадай, кого?»

Писатель спросил, что значит внебрачный.

«Бастард. В некотором роде незаконный... *laissons*, оставим это. И вообще, если я обо всём этом рассказываю, ты понимаешь? Не для того, чтобы ты рассказывал другим».

Сейчас она скажет: ты уже большой, должен понимать. Не раз приходилось замечать, что взрослые употребляют слово «большой» в двух противоположных смыслах: и как комплимент, впрочем, достаточно сомнительный, и как упрёк, абсолютно необоснованный.

«Дальше», – сухо сказал он.

«При нём был выстроен этот дом, на месте старого. Да, да, этот самый, где ты живёшь... Сыновья Терентия Карловича, вон они, все трое, – Анна Яковлевна подняла глаза на стенку, – пропали без вести. А если точнее...»

Она смотрит в пространство. Что она там видит?

«Если точнее, были расстреляны».

Писатель смотрит на неё круглыми глазами.

«В двадцатом году, во время гражданской войны. При отступлении... Старший, Яков, – это мой отец».

Спохватившись, она бросает погасшую папиросу в пепельницу. Погружённая в загадочные мысли, поднимает окурочек, снова роняет.

«Вот так, друг мой, – проговорила она. – Это бывает. Дом был записан на моего отца, я единственная наследница. Так что, как это ни смешно, – она развела руками, – дом принадлежит мне».

Опять же, как ни смешно, тебя не смущало странное явление гостя. Об Анне Яковлевне и говорить не приходится – с неё, как говорится, взятки гладки. Вокруг Анны Яковлевны происходили чудеса. Но если вспомнить, сколько таких выходцев бродило по улицам в те годы, пряталось в норах коммунальных квартир!

Времена смешались, и в некотором смысле всё существовало одновременно.

Он спросил:

«Весь дом?»

«Да, – сказала она сокрушённо. – Так я ему и объяснила. Но он и так знал, поэтому и приехал».

«Откуда?»

«Не знаю; не интересовалась. А главное, никак не мог понять, что всё это не имеет никакого значения... Спрашивает, где документы. Нет никаких документов, всё пропало. Выходит, ты не могла доказать, тебя и погёрли. Я говорю: вы хотите сказать, что меня выгнали? Пытаюсь ему объяснить, что меня – как это называется – экспроприировали. Сперва был организован домком. Какой такой домком? Комитет по управлению и уплотнению. Слава Богу, – сказала Анна Яковлевна. – Люди остаются людьми. Оставили за мной эту комнату».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Дальше рассказывай».

«Мой купец словно с Луны свалился; спрашивает: а кто же ещё здесь живёт? – Жильцы. – Кто такие? – Разные. – Ладно, сказал он и хлопнул себя по коленям, некогда мне тут с тобой тары-бары разводить, я желаю откупить у тебя дом. – Господи, говорю я, что вы будете с ним делать? – Не твоя забота. О цене сговоримся, составим купчую, всё как положено. И предлагает задаток, представляешь себе? Разворачивает бумажник и вынимает пачку банкнот. Я, говорит, дом отремонтирую, приведу в божеский вид. Конечно, и тебя не забуду. Выберешь себе какой-нибудь этаж, а всю эту шантрапу вон. Приличным господам будем сдавать».

«Я уж не стала говорить, – продолжала Анна Яковлевна, – на что мне эти банкноты. Что я с ними буду делать? – Она усмехнулась. – Вот видишь, он бы и твоих родителей выгнал на улицу. Всё-таки революция имела какой-то смысл».

«Революция, – сказал писатель, – покончила с экс-плю...».

«Не вздумай плеваться. Ты хочешь сказать, с эксплуатацией. *Veillez m'expliquer...* благоволите объяснить, что это такое».

«Рабочих и крестьян».

«Угу. М-да... Впрочем, в твоих словах есть доля истины. Этого нельзя не признать».

Таковы были памятные беседы писателя с экс-баронессой Анной Яковлевной Тарнкаппе.

III Палеонтология времени (1)

22 сентября 1936

Ты увидел её такой, какой была она в те счастливые дни, когда ты забирался с ногами на диван и пел: «Иксплю, икспля, иксплю!», и в ту ночь, когда возвращались после неудачного путешествия в Колонный зал, о чём речь ниже; ты увидел её в те времена, когда читал её лицо на комодке, – ведь портреты можно читать, даже не сознавая этого, – и на фарфоровом, в чёрных трещинках медальоне, и тотчас, через много лет, услышал её журчащий голос, звучный прононс: «*Veillez avoir l'obligeance!*...»; ты увидел переулок, и дом, и квартиру, где прошли лучшие годы жизни, и вспомнил, как однажды, а может быть, и не один раз, тебе привиделось, будто ты лежишь на её диване и видишь сон, и знаешь, что этот сон во сне есть не что иное, как действительность.

Гипертрофия памяти, о, этот старческий недуг, подобный гипертрофии предстательной железы. Молодость умеет сопротивляться, молодость побеждает агрессию памяти; беспамятство – её защитный механизм: мы молоды, куда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти накапливаются в мозгу. Словно горб, склеротическая память не даёт распрямиться. Утрата способности забывать, вот что такое старение; мы умираем, раздавленные этим бременем. Итак, берегитесь! Вы заболеете той же болезнью. Вот что могло бы сказать старшее поколение младшему. Берегитесь: когда-нибудь и у вас начнёт расти эта опухоль, и вас однажды настигнет бессонница воспоминаний. И уберечься невозможно.

Вернёмся всё же к начатому рассказу. Жилплощадь родителей. По имеющимся сведениям, она представляла собой длинную, наподобие пенала, комнату с окном в переулок. Занавес на кольцах делил её пополам. Получилось две комнаты. В первой половине находилась оттоманка, на ней спал писатель, ближе к двери – шаткий столик, заваленный растрёпанными детскими книжками, под ним было свалено ещё кое-какое имущество: игрушки прежних лет, деревянное оружие, коробка с фантиками, интерес к которым угас, и альбом марок – новое увлечение. На этой же половине помещались буфет, книжный шкаф, обеденный стол и древнее пианино. От множества вещей комната, казавшаяся ребёнку просторной, выглядела ещё вместительней, он расхаживал, как в хоромах, там, где взрослые передвигались бочком; но если бы, например, пришлось освободить жилплощадь, она оказалась бы совсем небольшой – удивительно, как могло всё это уместиться; вообще говоря, это была одна из загадочных черт эпохи.

Скажут: не жильё, а камера хранения, чулан прошлого; скажут – судорожные усилия сберечь обломки безнадёжно отжившего; и в самом деле, было нетрудно угадать в этом нищенском изобилии, в мутных стекляшках люстры, в остатках леп-

нины на потолке, в никому не нужном пианино допотопной немецкой фирмы, с медными подсвечниками и двуглавым орлом, — угадать немое и трагикомическое столкновение эпох. Но, быть может, тут сказалось врождённое стремление сохранить непрерывность времени. Пускай нить, соединявшая прошлое с настоящим, свалась то и дело — руки людей ловили, кое-как связывали повисшие концы, снова подхватывали и снова связывали. Удивительное было время — всё в узлах.

Что касается второй половины, так сказать, второй комнаты, там стояли зеркальный шкаф, туалетный столик, остальное пространство, загородив часть окна высокой никелированной спинкой, занимала кровать родителей. На ночь задёргивалась портьера; шорохи, вздохи, слабый стон матрасных пружин, обрывки загадочных речей доносились до мальчика.

«Не могу забыть, всё время думаю...»

Отец: «Перестань».

«Всё время...»

«Откуда ты знаешь, что это была девочка?»

«Знаю. Теперь я уже никогда не смогу...»

«Откуда это известно?»

«Врач сказал».

«Что он сказал?»

«Сказал, у меня заросли трубы».

«Может, к лучшему».

«Как ты можешь так говорить!»

Смешок: «Не надо предохраняться».

«Ты и так не предохраняешься. Всё самой приходится».

«Нет, серьёзно, сама подумай: с нашей зарплатой. И в этой тесноте».

«Другие живут ещё тесней. Посмотри, как ютятся Островские, шестеро в одной комнате. А Гуджаян просто в подвале».

«Вы ещё козу к себе возьмите. Помнишь этот анекдот?»

«А ты поменьше рассказывай. Тебя и так уже считают евреем».

«Но это правда».

«Наполовину. Не забывай, что на пятьдесят процентов ты русский. И вообще, благосостояние растёт».

«Ты поставила будильник?»

Вздых: «Говорят, хлеб подорожает».

«Кто это говорит?»

«Марья Антоновна. У неё сын работает в этом, как его».

«А ты говоришь, благосостояние растёт».

«Да, в общем и целом, без сомнения».

«В общем и целом. А в частности?»

«Я знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, которые сознательно распространяют такие сведения».

Голоса доносятся из темноты, из-под воды, из чащи, заросшей лианами; ты не спишь, ты не спишь.

«Ты видел это объявление? Совсем рехнулась».

«Делать нечего, вот она и пишет».

«Здесь не плюй, там не сори».

«Делать нечего, вот и пишет».

«А у самой комната вся провоняла табаком. Ребёнок дышит табачным дымом».

Снова пауза, ты держись на поверхности, изо всех сил стараясь не погрузиться в небытие.

«Говорят, в Москву завезли — не поверишь. Сто тысяч тонн бананов».

«Бананов?»

«Из Колумбии».

«Где это?»

«Ну, как тебе сказать», – говорит отец.

Пальмы, джунгли, лианы. Голые, шоколадного цвета туземцы в перьях выглядят из чащи, потрясая копытами над головой.

Хочется вскочить и показать им в альбоме роскошную серебристую марку.

«А сколько они стоят, ты знаешь?»

«Понятия не имею. Я вообще никогда не пробовала бананов. А ты?».

Пауза.

«Надо ему запретить».

«Ты знаешь, кто она такая?»

«Конечно. Из бывших».

«Ну вот, а ты говоришь».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что я не понимаю: как это таким людям разрешают жить в Москве».

Такие люди. Какие? Вскочить и крикнуть: ей принадлежит весь дом! Так что помалкивайте.

«Подделала анкету, вот и всё».

«Думаешь, это так просто?»

«А то бы её давно вытурили».

«За подделку документов знаешь, что бывает?»

«Взятку, наверно, дала. Небось припрятала брильянты».

«Какие там брильянты...»

«А что. Марья Антоновна рассказывала, у них умерла одна старуха. Совсем нищая была, побиралась. А потом вспороли матрас – там сто тысяч».

«Брехня...»

«Бродит по ночам. Вдруг понадобилось чай пить, я сама видела».

«Ночью?»

«Пописать выходила, а она на кухне зажигает керосинку. Ещё пожар наделает».

«Не надо преувеличивать. Тихая, культурная старушка».

«В тихом омуте черти водятся».

«Слушай-ка, – сказал папа, – а кто это такая, ты её раньше когда-нибудь видела?»

«Никого я не видела. Я спать хочу».

«Барышня эта. Вчера приходила».

«Ты всё на барышень заглядываешься. Племянница».

«Какая племянница, она ей во внучки годится».

«А ты знаешь, что она разговаривает с мальчиком по-французски?»

«Кто разговаривает?»

«Она».

«Ну что ж, это очень хорошо. Расширяет кругозор».

«По-моему, это опасно».

«Не понимаю, почему?»

«Мало ли что – ещё кто-нибудь сообщит».

Молчание.

«Разве тебе не ясно, что это в высшей степени подозрительная личность?»

«Кто, племянница?»

«Да не племянница. Старуха!»

«Господи, да она сто лет здесь живет».

Я сплю, сказал мальчик. Экспля, эксплю.

«В Москву завезли... Сто тысяч...»

«А где это находится?»

Там еще что-то происходит. Под пальмами Колумбии. Издалека:

«Не хочу».

«Повернись, пожалуйста».

«Ты всегда выбираешь самый неподходящий момент».

«Смилуйся, государыня рыбка».

«Ты всегда... — Я сплю, сказал мальчик. — О-о!» — и в её голосе смешались протест и восхищение. Тихий скрежет пружин — последнее, что он услышал. И прошло много часов, много дней. Уже близился рассвет. Теперь ему снилось, что он спит и видит сон. Сон склонился над ним и будит его.

О снах во сне сказал далекий соотечественник Анны Яковлевны Тарнкаппе: мы близки к пробуждению, когда во сне сознаём, что видим сон. Следует ли из слов Новалиса, что если мы стараемся убедить себя, что мы бодрствуем, значит, мы грезим? Сон — это ряд ступеней, ты нисходишь в подвал, потом восходишь наверх, там чердак, там сквозь окно в крыше голубеет рассвет. Слабый стук будильника проник в слух, вот-вот прогремит гром, мальчик спал и думал во сне о том, что мать увидела ночью Анну Яковлевну на кухне, но не разгадала тайну, не узнала, для кого заваривался чай из китайского магазина. И, чтобы окончательно пробудиться, он встал и на цыпочках вышел в коридор.

Ему не было холодно в ночной рубашке, впрочем, как-то само собой получилось, что он одет. Возможно, он забыл, что возвращался в комнату надеть чулки и заправить в штаны рубашку. Как и Анна Яковлевна перед тем, как подъехала коляска с бородатым родственником, он стоял перед подъездом, тускло светилась мостовая в сиянии фонарей, из тёмной листвы за стеной чехословацкого посольства бесшумно вылетела большая ночная птица и, махая крыльями, полетела низко, на уровне первого этажа, к перекрёстку, он шёл за ней. Он увидел, что, долетев до поворота, она уселась на каменную тумбу — должно быть, ждала его. Это была учёная дрессированная птица, когда он приблизился, она широко растворила клюв. Он не мог разобрать слов. Навстречу шёл кто-то, невозможно было понять, мужчина или женщина, далеко в просвете Большого Харитоньевского переулка, за спиной идущего светлело, над Чистыми прудами занималась заря; но когда этот кто-то приблизился, писатель догадался, что навстречу идёт племянница, та самая барышня, о которой говорил отец. Она остановилась шагах в десяти и поманила его к себе. Он успел сделать шаг навстречу и был сердит на мать, которая наклонилась над ним и гладила ему волосы. Пора было в ненавистную школу.

IV Племянница

10 апреля 1937

Анна Яковлевна была больна, покоилась под выставкой фотографий, маленькая, с необыкновенным румянцем, заострившийся нос торчал над одеялом, рядом на стуле стояла кружка с остывшим чаем, лежали порошки в вощаной бумаге, лежала книга, которую она не раскрывала, роман Пьера Лоти.

Можно добавить, что под Пьером Лоти лежала ещё одна тоненькая книжка стихов: как ни странно, Бодлер.

«Если, — сказал писатель, держа в обеих руках большой ломоть хлеба, намазанный повидлом, — поставить ракету на колёса, получится ракетный автомобиль».

«Сперва прожуй...»

«Если присоединить к динаме электромотор, знаешь, что получится?»

«Нет, не знаю».

«Вечный двигатель. Динама будет давать ток для электромотора, а электромотор вертеть динаму».

«Ты это сам изобрёл?»

Инженер самодовольно повёл плечами.

«Я в этом ничего не понимаю. У тебя сейчас капнет. Только, пожалуйста, не на пол...»

«Насколько мне известно, – продолжала она, – вечный двигатель невозможен, хотя столько людей потратили жизнь на его поиски. Не думаешь ли ты присоединиться к ним?»

Мальчик слизывал стекающее на пальцы повидло. «Pas du tout, – сказал он презрительно, – вовсе нет. Ведь я его уже нашёл».

Анна Яковлевна осведомилась, что нового в училище. Так она называла, возможно, из упрямства, 613-ю среднюю школу в Большом Харитоньевском, воздвигнутую на месте взлетевшей на воздух церкви. Но что может быть нового в школе? Он пожал плечами.

«У тебя криво висит галстук... ах нет, не подходи. Подхватишь от меня. Вытри пальцы».

Порылась за пазухой и вытащила градусник.

«Тридцать восемь и ноль», – стоя у окна, объявил писатель.

«Дай-ка мне... Гм, действительно... Подойди к зеркалу и поправь».

Из тусклого, в чёрных царапинках, стекла, словно из окна в прошлое, на тебя уставилась голова с выпученными глазами, оттопыренными ушами – и высунула язык.

«Заправь под пиджачок. Попроси маму, чтобы она тебе выгладила».

Он объяснил символику алого пионерского галстука. Три конца галстука обозначают Третий Интернационал. А также три поколения революционеров: большевики, комсомольцы и мы.

«Кто это – мы?»

Мальчик сотворил перед зеркалом пионерский салют. В его руках появились невидимые палочки, затрещала сухая дробь барабана.

«Юные пионеры, – проговорил он, – тр-ра-татата! В борьбе за дело, трам-тарам, будьте здоровы. Нет, – поправился он, – будьте готовы».

Он запел:

«Взвейтесь кострами, синие ночи! – Маршируя по комнате, чуть не налетел на стул. – Этот красный галстук смочен кровью борцов за дело рабочего класса».

«Угу, – пробормотала Анна Яковлевна. – Не испачкайся».

Но она была далека от иронии. Возможно, её мысли витали где-то. Она промолвила:

«Вот что я хочу тебе сказать... Ты, наверное, уже рассказал маме, кого мы вчера видели?»

«Милиционеров».

«Совершенно верно. А когда возвращались, на обратном пути. Тоже рассказал?»

Он помотал головой.

«Правильно. Не надо её беспокоить. Между прочим, я как-то начинаю сомневаться... – Она закрыла глаза ладонью, в комнате стало сумрачно, стало холодно, зеркало белело в углу, белело окно. – Накрой меня ещё, вон там лежит... Я как-то... – бормотала она, стуча зубами, – начинаю... Меня тут многие считают помешанной, но уверяю тебя... б-р-р... Не надо было ездить... Ах, не надо было... И тебя ещё потащила с собой...»

Её голос, прерываемый кашлем, всё ещё слышался из-под одеяла и пледа, когда произошло событие, которому едва ли стоило придавать значение, а впрочем, как посмотреть, ведь память не гарантирует ни важности, ни случайности происходящего. В комнату вошла племянница. Или, что было правдоподобней, внучатая племянница, а ещё точнее, седьмая вода на киселе. Та самая. Забежала к больной по дороге куда-то.

Волосы окружили её светящимся нимбом – теперь она стояла у окна, ее лицо погрузилось в сумрак.

Кажется, она училась в театральной студии. Что же вы ставите, спросила Анна Яковлевна. «Платон Кречет». Это что, из современной жизни? Замечательная пьеса, драма, сказала гостья. Но со счастливым концом. – И о чём же эта пьеса? – Ах, бабушка, долго рассказывать. Это такой хирург, он влюблён в одну девушку, а у неё отец умирает во время операции. Но несмотря на это, они любят друг друга. – Извини меня, детка, я совсем бестолковая: кто это, они? – Я же говорю, Кречет и Лида! – Всё так же неожиданно она попрощалась, её глаза, золотисто-карие, взглянули на мальчика, каблучки простучали по коридору.

Самое удивительное состояло в том, что она была похожа на ту, другую, висевшую за комодом.

И это несмотря на то, что дама за комодом была, осторожно выражаясь, неоде-та, на племяннице же было платье и пальто.

В чем же тогда состояло это сходство? Ведь нельзя же себе представить, чтобы тебе, в этом возрасте, могло прийти в голову, что если бы племянница сбросила с себя всё, то оказалось бы, что она точь-в-точь та самая, в углу за комодом. Что она, чего доброго, позировала неизвестному художнику! И что это ошеломляющее открытие было сделано в те короткие минуты, когда девушка появилась в комнате, чтобы тотчас упорхнуть прочь. *Vraiment*³, малоправдоподобное предположение.

Необходимо объяснить. Наше описание жилища Анны Яковлевны будет неполным, если мы опустим одну немаловажную деталь: по обе стороны от окна помещались, одно за комодом, другое за диваном, два произведения искусства. Об иконе, висевшей, как полагается, в правом углу, много говорить не приходится, слава Богу, она не бросалась в глаза. (Хотя, если присмотреться, тоже кого-то подозрительно напоминала – уж не хозяйку ли комнаты? Но эта гипотеза – позднейшего происхождения). Гораздо занятней был другой, куда менее благопристойный, а лучше сказать, прямо-таки скандальный портрет в затейливой раме с остатками позолоты. Писатель как будто даже не обращал на него внимания, а всё же нет-нет да и взглянёт.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»⁴ – осведомилась однажды, не без некоторого беспокойства, Анна Яковлевна.

Писатель молчал – не потому, что не умел ответить по-французски, а потому, что не знал, что ответить. Картина вызывала неясную тревогу.

Это был типичный образец буржуазного разложения предреволюционных лет. Представлена была нагая особа в бокале с шампанским – заметьте, не с бокалом, а в самом бокале, достаточно, впрочем, вместительном. Как она там очутилась? Одну ногу она подогнула, так как обе ступни не помещались на узком дне, прозрачно-золотистый напиток доходил ей до груди; приглядевшись, можно было заметить, что пальцы другой ноги отталкиваются от стеклянного дна, – казалось, она старается всплыть.

Русалка потеряла рыбий хвост, – одно из возможных объяснений, – расщепившись внизу, превратилась в женщину. И вот теперь рвётся прочь, ищет выбраться из стихии, которая стала ей чуждой. При этом она не забывала прикрыть поджатой правой ногой низ живота, ведь она была женщиной. Её бёдра образовали форму слегка перекошенной лиры, подчеркнув изгиб её тела. Она тянется вверх. Вода ласкает живот с ямкой пупка, ласкает бёдра, вот, оказывается, в чём дело: влага

³ Право же.

⁴ Как тебе нравится эта картина? (фр.)

делает почти осязаемым музыкальное струение линий тела. Маленькие груди – левая чуть ниже правой, так что сосок оказался ниже уровня жидкости, правая выступила из воды. Надо признать, умелый мастер! И к тому же себе на уме. Легко, почти шутя, ушёл от упрощённой симметрии, но не запретил зрителю почувствовать эту симметрию. Линия рук особенно удалась. Одна рука под водой скользит по стенке сосуда, другая тянется к тонкому краю. Длинные волосы колышутся на поверхности вод. Взгляд наблюдателя поднимается к животу и груди, к круглому подбородку, и тут его ожидает ещё одна странность, если угодно, фокус художника: переливы света в бокале, игра бликов на поверхности вина лишили это лицо сколько-нибудь ясного выражения. Оно как будто обращено к вам, как будто вопрошает о чём-то и тотчас тонет, не дождавшись ответа, в прозрачной и зыбкой, почти нематериальной среде, так и хочется сказать – в материи сна. И в самом деле: не подсказало ли сновидение художнику его сюжет? Или он попросту приглашает полюбоваться, хочет выразить весьма тривиальную мысль, что тело женщины красноречивей её лица?

Грамматика женского тела, может быть, и не столь сложна, не так уж много этих падежей и глагольных форм, и все времена заменены одним настоящим; зато стилистика, поэтика, внутренние рифмы и ассонансы – о, тут есть над чем потрудиться. Лицо одухотворяет чувственность тела; в свою очередь, нагое тело расшифровывает загадку лица. Мы переселяемся в иную эпоху, в иное настоящее, мысли такого рода бродят в голове у зрителя, пока, наконец, он не отводит глаза, отворачивается, чтобы стряхнуть минутный гипноз манерного, щекочущего эстетизма, вспомнить, где он живёт, в какой стране, в какое время.

Эта смешная картинка. Это лицо – лицо золотоокой племянницы, при всей абсурдности такого предположения. Было ли оно, это лицо, красивым? Задумчивость, неожиданная у девушки, поднявшейся из воды, – задумчивость о себе, о своей сущности, смутная догадка об участи, которая ждёт её в мире холодного воздуха, в чужой, опасной среде. Вода – ибо, в конце концов, это была первоматерия, из которой вышла новая Анадиомена, – вода не выталкивала её, вопреки физическому закону, напротив, тянула назад, в материнское лоно, оберегала от искушений, от насилия. Но, верная своему назначению, девушка рвётся ввысь, в мир, наружу. Её судьба впереди. Никакого представления о катастрофе, лишь смутное чувство, предвидение утраты.

Позвольте, однако: беседовать на подобные темы с ребёнком? (Если предположить, что такая беседа могла состояться.) Или, вернее, с маленьким мужчиной – раз уж сомнительная картина притягивает его взгляд.

«Comment la trouvez-vous, cette peinture?»

Она и не ждёт ответа.

«Видишь ли, что я хочу тебе сказать...»

Сейчас она скажет: ты уже не маленький. Как будто он и без того не понимает, в чём дело. Но, собственно, в чём?

«Когда-нибудь ты поймёшь: самое совершенное на земле, истинный венец творения, – да, не удивляйся – это женщина... То, что некоторым людям кажется неприличным, на самом деле – красота. А красота, запомни это, не может быть неприличной, не может быть непристойной, красота есть нечто священное. Здесь, конечно, изображена идеальная женщина, было такое время, когда художники изображали идеальных женщин. Но я тебе скажу, что каждая женщина более или менее приближается к этому образцу. Не к этой картине, конечно, ты же понимаешь, что этот бокал, в котором она барахтается, – это шутка... Я говорю вообще».

Анна Яковлевна почесывает гребенкой в затылке.

«Ты можешь мне не верить, но я тоже была когда-то... – она вздыхает, – да, да, – она прикрыла глаза, кивает седой головой, – очень недурна собою!»

Мать застала тебя за рисованием. Ужас! В воде колыхается нечто, плывёт утопленница. Хищные рыбы ринулись за своей добычей. Вдали корабль спешит на помощь. У неё длинные волосы, и тянутся следом на поверхности вод.
«А уроки ты сделал? Я запрещаю тебе ходить к...»

V Визит терапевта сам по себе есть лечебное мероприятие

14 апреля 1937

Доктор Арон Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района столицы, могучий, пухлый, с дорогим перстнем на указательном пальце и печаткой на мизинце, с уходящей к затылку сверкающей лысиной, сидел, расставив ноги по обе стороны живота, силился дотянуться губами до массивного носа, шумно втягивал воздух в широкие волосатые ноздри, решительно похлопывал себя по коленям и сдвигал брови, вновь погружаясь в таинственное раздумье.

«Доктор, – простонала больная, – я поправлюсь?»

Доктор Каценеленбоген хранил молчание.

«Я, кажется, вас о чём-то спросила!»

«Возможно».

«Что возможно?»

«Очень может быть».

«Что, что может быть?» – взывала она.

«Очень может быть, что вы поправитесь».

«Доктор, вы невозможны. Почему вы мне ничего не прописали?»

«Нет необходимости».

«Понимаю, – сказала она упавшим голосом. – Вы считаете, что я безнадежна».

«Я этого не говорил».

«Но подумали. Скажите мне правду. Я должна подготовиться, написать завещание... Доктор, с кем я говорю: с вами или со стенкой?»

«В данном случае это одно и то же. Что вы от меня хотите?»

«Почему вы мне ничего не прописываете?»

«Потому что вы и так поправитесь».

«Я считала вас моим старым другом».

«Можете продолжать считать меня вашим другом».

«Сколько лет мы знакомы?»

Доктор Каценеленбоген возвёл глаза к потолку, пожал плечами.

«Я страдаю. Я, может быть, лежу на смертном одре. А вы ничего не предпринимаете».

Доктор поднял густейшие смоляные – явно крашенные – брови и на мгновение вышел из задумчивости. Втянул воздух в ноздри, повернул на пальце кольцо с жёлто-туманным камнем.

«Но я здесь, как видите. Да будет вам известно, что визит врача уже сам по себе является терапевтическим мероприятием. Надеюсь, вы и на этот раз убедитесь в этом... Пейте крепкий чай. Проветривайте комнату, у вас ужасная духота. Половину этого хлама, – он обвёл жильё презрительным взглядом, – давно пора выкинуть на свалку».

«Доктор, как вы смеете так говорить!»

Ответом был шумный вздох, опасно заскрипел единственный стул. Эскулап заколыхался, оборачиваясь.

«А-а, молодой человек. Сколько лет, сколько зим».

Писатель украдкой показал ему язык.

«Ай-яй-яй!» – сказал доктор.

Доктор медицины Арон Каценеленбоген проживал на Чистопрудном бульваре, в доме с барельефами фантастических зверей и растений в стиле «модерн». Те, у кого ещё есть охота и время пройтись по бульвару, без труда найдут этот замечательный дом. В годы, когда частную практику, разновидность эксплуатации трудящихся, удалось, наконец, пресечь и домашний врач стал такой же архаической фигурой, как извозчик, вывеска с фамилией доктора и часами приёма по-прежнему красовалась у парадного входа, чему отчасти способствовала известность доктора Каценеленбогена, главным же образом то, что его частенько приглашали к влиятельным лицам. Рост и тучность, равно как и высокие гонорары, поддерживали репутацию доктора, который чаще ограничивался терапевтической беседой (обычно сводившейся к нескольким внушительным репликам), высоко ценил свежий воздух и лишь в крайних случаях прописывал пациентам лекарства, бывшие в ходу полвека тому назад.

Доктор Каценеленбоген разделял мнение герцога Ларошфуко о том, что у всех нас находится достаточно сил, чтобы переносить чужие страдания, и что, с другой стороны, мы никогда не бываем настолько несчастливы или настолько счастливы, как мы это воображаем. Он не надеялся на конечное торжество добродетели над пороком и не слишком верил в победу ума над глупостью. Доктор Каценеленбоген не любил рассуждать о вере и религии, справедливо полагая, что нет оснований считать человека образом и подобием Бога, коль скоро у Бога нет никакого физического облика, и втайне считал свою медицину вполне приемлемой заменой церкви; может быть, поэтому в его практике такую важную роль играла ритуальная сторона. И раз уж мы заговорили о вероисповедании, заметим, что та разновидность теизма, которую называют верой в исторический разум, нашему доктору тоже была чужда. К этому вопросу, впрочем, ещё предстоит вернуться.

Что же касается частной, или, по-тогдашнему, личной жизни доктора Каценеленбогена, о ней было известно немногое. Доктор был вдов. Хозяйство вели домработницы или, если угодно, экономки; некоторые были его пациентками, другие спаслись от колхозов, сумев при содействии доктора зацепиться в Москве; все эти девушки, сменявшие друг друга, не упускали случая намекнуть в тесном кругу, что они удостоились чести состоять в интимных отношениях с их покровителем, но какова была доля правды в этой похвальбе, сейчас решить невозможно.

«Доктор, я, кажется, не успела рассказать вам, при каких обстоятельствах я простыла...»

«Это хороший признак».

«Я не понимаю!»

«Если вы готовы приступить к рассказу, значит, дела не так уж плохи».

«Но я чувствую, что у меня воспаление лёгких!»

«Будет лучше, — отвечал доктор Каценеленбоген, — если вы предоставите право ставить диагноз более компетентным людям».

Что же это были за обстоятельства?

VI Уступка беллетризму. О чём она собиралась рассказать

8 апреля 1937

Дела давно минувших дней; впрочем, как уже сказано, занимательность важнее истины. Некоторые подробности, принимая во внимание возраст Анны Яковлевны и другие обстоятельства, могут быть оспорены. Но что такое истина?

Спать не на кровати, есть не за столом — мы уже слышали эти слова. Комната Анны Яковлевны демонстрировала главное, может быть, величайшее завоевание

революции, ее важнейший урок, а именно, что без многого можно обойтись. Многое, как выяснилось, было попросту излишним. «Так теперь принято». И в самом деле, стол занял бы слишком много места. Не нужна и кровать, если есть диван. Не говоря уже о том, что оказалось вполне возможным обойтись без Бога, а заодно похерить и государя. Было ли в комнате зеркало, куда можно посмотреться? «Глупая женская причуда, к чему? – говорила Анна Яковлевна. – Я хочу остаться в моей памяти такой, какой я была когда-то. Можешь мне поверить: ко мне летели все сердца». Но зеркало все-таки было.

«Не хочу видеть себя, – сказала она, от ложного, эфемерного образа в поцарапанной амальгаме поворачиваясь к истинному: к фотографии на комод. – Дама не может появиться одна, надеюсь, ты не откажешься меня сопровождать...»

Не удержавшись, она вновь покосилась на тусклое своё отражение.

«Mon Dieu, как я всё-таки постарела. Сколько мне можно дать, как ты думаешь?»

Ты стоял рядом с ней, ты стал выше с тех пор, как её посетил купец Козлов, а она ещё ниже, и теперь вы были одного роста. В остальном мало что изменилось, если не считать перемен в составе атмосферного воздуха. Что-то происходило в мире, правда, никто толком не знал, что именно происходило. Кое-какие новшества не могли остаться незамеченными: бульжник в переулке сменился асфальтом, чахлый скверик рядом с посольством был обнесён забором, там стояла строительная вышка, это была шахта метро. Потом и она исчезла, и появилось рядом с Хоромным тупиком, лицом к Садовому кольцу и народному комиссариату путей сообщения, изумительное сооружение – похожая на вход в туннель станция подземной железной дороги. Что касается воздуха, то, хотя он по-прежнему состоял из азота и кислорода с незначительной примесью инертных газов, но азота стало больше и к нему присоединилось нечто изменившее прозрачность атмосферы. Крупные объекты, как-то: дома и дворы, подъезды и подворотни, по-прежнему были хорошо различимы, но те, кто ещё недавно выходил из подъездов, останавливался перекинуться словечком с соседом, заглядывал в керосиновую лавку, выстраивался в хвост перед продовольственным магазином – короче, вчерашние обитатели дома и переулка – растворились в этом воздухе один за другим. Бог знает, что с ними случилось, пропали или стали невидимы, вчера были, сегодня их нет и даже вроде бы никогда не было. Помутнение атмосферы достигло такой степени, что сейчас уже трудно объяснить, каким образом удалось отыскать извозчика, вернее, как он нашёл дом в Большом Козловском переулке. Но мы забежали вперёд: Анна Яковлевна всё ещё в сборах.

«Теперь ты должен отвернуться. Или, пожалуй, выйди... я позову».

Писатель – незачем напоминать, что он был и певцом, – сидя на сундуке в коридоре, пел гимн метрополитену:

«Где такие залы, подземные вокзалы, подземные порталы блестят, как серебро!»

Наконец, из-за двери послышался голос Анны Яковлевны. Он вошёл.

«Voilà!»

Писатель молчал, лишившись дара речи.

«Où est votre compliment? В таких случаях, да будет тебе известно, полагается сказать даме комплимент. – Дрогнувшим голосом она произнесла: – Ну как?»

Анна Яковлевна ослепительна. Её глаза затуманены. Чёрное, длинное, до полу, шёлковое платье висит на её тощем тельце. Что-то мелко поблескивает на груди, переливается жёлтыми и лиловыми искрами. Некогда мама высказала предположение о припрятанных брильянтах. Брильянты не брильянты, но с ушей свисают мутно-жёлтые стекляшки, и шею обвилось такое же ожерелье. Анна Яковлевна стояла, пошатываясь на высоких туфлях, и как будто не знала, куда деть голые руки в чёрных, длинных, как чулки, перчатках до локтей. Её седые волосы были взбиты и приобрели неожиданный лиловый оттенок.

«Как ты меня находишь? А? – громко дыша от волнения, повторила она. – Я тебе не нравлюсь?»

Писатель по-прежнему безмолвствовал, открыв рот, взирал на неё с испугом и восхищением.

«Духи!» – приказала она, теперь её голос вновь звучал повелительно, как у герцогини. Мальчик подал с комода пустой флакон. Анна Яковлевна потряхивала духами на грудь и плечи, прыскала на ладонь воображаемой жидкостью, провела пальцами за ушами и вдоль шеи. Чудо: слабый, сладко-удушливый запах распространился в комнате.

«Mon éventail. L'éventail!» – повторила она нетерпеливо. Мальчик не знал это слово. Он попытался раскрыть эту странную вещь, сандаловый веер, скреплённый нитками, Анна Яковлевна выхватила ветхую принадлежность из его рук. Анна Яковлевна сама повязала ему тщательно отглаженный красный галстук. Наконец, была накинута шуба с воротником, по которому уже прошли когти времени, прогулялась моль. Извозчик ждал у подъезда.

И это дивное путешествие началось, ехали, покачиваясь на рессорах, вдоль слепых домов, мимо тёмных оград по Большому Харитоньевскому, миновали Мыльников, Гусятников, а там Чистые пруды, и в лицо повеял свежий дух весны, и, высекая искры из-под колёс, вдоль бульварной ограды громыхал светлый пустой трамвай. А там Мясницкая, которая теперь называлась улицей Кирова. Было весело, томило нетерпение, цокали копыта, туман окутал висячие фонари, кучер молча восседал впереди, в глубине экипажа под натянутым верхом блестели глаза Анны Яковлевны. Пусть твоя мама не беспокоится, говорила она, до рассвета успеем вернуться.

«Пожалуй, я расскажу тебе кое-что. Чтобы ты не скучал... Извозчик!» – сказала она громко.

«Да, мадам».

«Я надеюсь, вы не забыли адрес».

«Сорок лет ездим. Уж нам ли не знать».

«Поторопите лошадей. Мы должны к десяти непременно поспеть».

«Слушаю, мадам».

И подковы застучали чаще, карета колыхалась, шуршали резиновые шины.

«Скажу тебе по секрету, – шепнула она. – Может быть, мы увидим государя».

«Кого?»

«Государя императора».

«Николашку?»

«Фу! Стыдись».

«Его пустили в расход», – сказал мальчик.

«Этого не может быть. Этого никогда не было. Ложный провокационный слух».

«Так ему и надо».

«Как ты смеешь так говорить! Ты это всерьёз?.. Извозчик!»

Голос свыше откликнулся:

«Да, мадам».

«Остановите лошадей. Я с ним дальше не поеду».

На короткое время воцарилось напряжённое молчание, оба вслушивались в дробный цокот копыт, экипаж трясся, нёсся; наконец, она проговорила:

«Я понимаю, ему можно было предъявить кое-какие претензии. Да, я это признаю. Говоря откровенно, и, разумеется, entre nous, это был никуда не годный монарх. Но расстрелять!.. – Она вздохнула. – Я знаю, что этого не было, уж я-то знаю, поверь мне. Но допустим... допустим, что это случилось. Можешь ли ты мне объяснить: за что?»

«За то, что он был оплотом контрреволюции».

«Тпру!»

Два рысака, с оглоблей посредине на немецкий лад, нервно перебирают точёными ногами перед роскошным подъездом.

«Сперва ты. Подать даме руку».

Подобрав шубу и платье, она собирается вылезти. Писатель выпрыгнул из кареты. Но не успел он выполнить долг мужчины, как перед ними очутился страж порядка.

Mon Dieu, какой порядок они нарушили?

VII Похороны Максима

8 апреля (продолжение)

«Это недоразумение. Вы не смеете. Это неслыханно, – говорила Анна Яковлевна. – Дайте мне руку, я хочу вылезти».

«Здесь останавливаться не положено. – Кучеру: – Проезжай».

«Извозчик! стоять на месте. – Её глаза метали искры из полутьмы. – Это неслыханное самоуправство. Я приглашена... мы оба приглашены. Я требую объяснений. Но дайте же мне, наконец, выйти! Нет, я с подобным поведением ещё не сталкивалась. Требую, чтобы вы извинились».

«Гражданка, – усмехнулся милиционер, – вы, по-моему, перепутали адрес».

«Нет уж, извините. Адрес Благородного собрания мне прекрасно известен».

Он прищурился.

«Какого собрания, чего ты мелешь?»

Анна Яковлевна, путаясь в платье, выбралась из коляски.

«Та-ак», – проговорил милиционер, оглядев её сверху вниз и снизу вверх, и вставил в рот что-то висевшее у него на груди. Пронзительный птичий свист заверещал на всю Дмитровку и пустынный Охотный ряд, и тотчас из-за угла вышагнула вторая.

«Товарищ старший лейтенант...»

«В чём дело?»

«Да вот тут...»

Товарищ старший лейтенант спросил документы. Возница неподвижно сидел на козлах, лошади стояли понурившись, было холодно, зябко, туман наплывал на город и оседал мелкими каплями на бывшем меховом воротнике Анны Яковлевны, на милицейских шинелях, на кургузом пальтеце писателя. Она рылась в музейной сумочке. Траурные полотнища подъезда вздрагивали под мозглым дуновением весны, высокие окна Колонного зала отсвечивали темно и мертво, всё кончилось, если вообще когда-либо начиналось. Анна Яковлевна испустила трагический вздох, «слава Богу, – бормотала она, – хоть паспорт вернули... mais c'est incroyable, это уму непостижимо!» Молча ехали по знакомым улицам. Кучер размышлял, сворачивать на бульвар или дальше по улице Кирова, к Красным Воротам; поравнялись с порталом главного почтамта, и тут навстречу пронёсся таинственный ветерок, показались во мгле красные огни – поистине это была ночь сюрпризов. Анна Яковлевна растолкала спящего писателя.

Киров, будь он неладен, едет с Ленинградского вокзала по улице его имени, бывшей Мясницкой, в Колонный зал, и не этим ли объяснялось наглое поведение милиционеров. Но нет, – да и вряд ли составитель этой хроники помнит проводы Кирова. Нет, это не был любимый Сергей Миронович, вождь питерского пролетариата, тёмная личность, герой, предательски застреленный в коридорах власти. Это был, о ужас... vous avez eu raison, прошептала потрясённая Анна Яковлевна, ты был прав.

Заметим, однако, что и тот, кого везли навстречу, в некотором смысле сравнился с казнённым Кировым в силу непостижимой иронии рока. По крайней мере, мог с таким же правом стать героем известной песни *Помер Максим*. Нигде так явственно не звучит глас народа, как в непристойных куплетах, и ничто с такой очевидностью не выражает величественного равнодушия истории к свершившемуся. *Помер Максим, ну и хрен с ним!* (Или там было употреблено выражение покрепче?)

Экипаж пошатнулся, лошади втащили карету с Анной Яковлевной и писателем на тротуар. Пламя дрожало в стёклах нижних этажей, мелькало в провалах витрин. Анна Яковлевна быстро, нервно перекрестилась. Прошагали факельщики в длинных одеяниях, в шляпах с полями, отогнутыми книзу. Проследовали, кивая султанами, ступая тонкими ногами, две пары вороных лошадей под чёрно-жёлтыми попонами с двуглавой птицей. Проплыл балдахин. Четыре капитана, дворяне древних кровей, стоя по углам катафалка, высоко держали раструбы горящих светильников. Последним шествовал, весь в чёрном, демон в маске, вёл под уздцы верховую лошадь в плаще до копыт.

Нисходит ночь с темнеющих небес. Пустеет улица, и глохнет поскрипыванье колёс роскошного погребального экипажа, ни души в переулках, ни одного нищего на тротуаре, ни единой влюблённой пары в подъездах. Слышно, как вздыхает во сне огромный город. И вот начинается дрожать тёмный пахучий воздух, трепет пронсится по проводам, запевают лиловые фонари. Голоса вступают один за другим, низко, глухо, с хрипотцой, но всё чище и уверенней. Хорал огней уносится мимо спящих домов, гремит над площадями, и в тон ему пробуждаются куранты древней башни, бьют чугунные колокола, поддакивают колокольчики, и ещё какие-то подголоски доносятся снизу из подземелий, жалобные дисканты, фальцеты. Слышишь? – говорит Анна Яковлевна. Что это, спрашивает мальчик. Слышишь – это ночная музыка города. Не каждый достоин ей внимать. Не каждому удаётся её расслышать.

Въехали в Козловский.

VIII Палеонтология времени (2). Размышления a posteriori. Непредвиденный ход событий

27 ноября 1941

Анна Яковлевна вспомнила, что уже много дней не отрывала листки настенного календаря. Между тем время идёт, события налезают друг на друга, с грохотом, с треском, как льдины на реке во время ледохода. Трещит и крошится эпоха. Самые разные происшествия совершаются одновременно, под общим знаком, в едином ключе, но лишь годы спустя осеняет мысль о тайной переключке, о взаимозависимости; эта зависимость кажется объективным фактом. Вопрос, не есть ли она умозрительный конструкт. Но ведь именно так пишется летопись времени. Так скрепляются проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Был ли он таким на самом деле, выглядел ли таким, когда ещё ходил по земле?

Молниеносный польский поход, чуть ли не играючи покорена Франция; артиллерия, ракетные установки нацелены на Британские острова, сухопутные войска готовы к вторжению, но затем планы меняются, и гигантская рать пересекает границу восточного соседа от Балтики до Карпат. Ранние морозы сковали грязь на дорогах, облегчив наступление, но застигли врасплох армию, ведь никто не рассчитывал, что покорение России затянется, потери от обморожений превыси-

ли вдвое потери от ран. Меньше месяца осталось до Рождества, когда, наконец, увидели с холмов Подмосковья, в огромных цейссовских биноклях, звёзды на башнях византийской столицы.

Здесь стоит роковая дата – сколько дней и ночей протекло с тех пор? Век миновал, «наш» век, и, мнится, время собрать камни. Найти общий знаменатель, соединить диагоналями события, как соединяют звёзды линиями на карте неба, чтобы вышло созвездие. Доступно ли это нам, доступно ли тебе, живому свидетелю, недобитой жертве? Скажут, что получается круг, называемый *petitio principii*: вопрошая, каков облик эпохи, мы уже исходим из представления о некоей единой эпохе, а ведь её ещё нет. Ещё предстоит собрать её по кусочкам, и Бог знает, получится ли что-нибудь путное из разрозненных обломков.

Анна Яковлевна сняла со стены календарь и вышла из комнаты умыться. Её наставления, начертанные красивым наклонным почерком по линейкам, висели в коридоре, в уборной, на кухне. Всё функционировало, горели тусклые лампочки, медленно обращалась красная метка диска за стеклом электрического счётчика. Телефон молчал. Двери жильцов заперты, не слышно ни голосов, ни радио. Все уехали.

Анна Яковлевна боялась выходить на улицу, неизвестно было, работают ли магазины и керосиновая лавка. Она варила кашу из запасов крупы на электрической плитке, пренебрегая заветом экономить энергию. По ночам не спала, полуодетая, готовая ко всему, лежала, накрывшись одеялом и пледом, и погружалась в бесконечные воспоминания. Ночью она говорила себе, что настоящее безумно, будущего у неё не было – она и не горевала об этой потере, – важно было лишь прошлое, ибо в нём содержалось и то, что было, и то, что произошло потом; прошлое было не чем иным, как предсказанием и предвестием настоящего, и глядя в прошлое, она различала в нём, как в тусклом зеркале, сполохи сегодняшнего дня. Под утро её одолевал сон. Однажды раздался звонок в коридоре. Анна Яковлевна прислушалась; звонок повторился. Она поднялась со своего ложа, проковыляла, не зажигая свет, по коридору к дверям. Почтальон, в фуражке с загнутой кверху тульей, в шинели с воротником и отворотами из собачьего меха (она подумала, что ввели новую форму), ждал на площадке, сверху из окна между маршами лестницы сочился призрачный свет. Был пасмурный день.

Она спросила: «Телеграмма?» Вместо ответа ей самой был задан вопрос – ошеломлённая, она ничего не понимала и, однако, поняла; почтальон говорил по-немецки. Он осведомился, здесь ли проживает госпожа Тарнкаппе. И она ответила автоматически: *das bin ich* (это я), после чего офицер, коротко сказав: *darf ich?* (разрешите?), вошёл в коридор.

Анна Яковлевна не решалась спросить, что всё это значит, кто он такой. Офицер снял фуражку, щёлкнул каблуками и представился. Прошу, пробормотала она на языке, которым не пользовалась полвека. Вошли в комнату, он окинул стены светлым, льдистым взглядом, Анна Яковлевна взяла у него фуражку, он сбросил собачью шинель на диван, пригладил светлые волосы. Офицер сидел на низком диване, расставив ноги в узких глянцевах сапогах, на нём был голубовато-серый мундир с красной орденской ленточкой между серебристыми пуговицами, что-то вроде вензеля на узких погонах. Чёрносеребряная нашивка над правым карманом: орёл с геометрическими крыльями и свастика. Она не верила своим глазам, не верила ушам.

Офицер спросил: «Откуда это у вас?» Он смотрел на картину в углу между окном и комодом.

Анна Яковлевна не нашлась, что ответить, и пожала плечами.

«Оригинал? Вы знаете, что это за художник?»

Она пролепетала что-то.

«Правильно. Лео Пуц. Das Mädchen im Glas⁵. Мюнхенская школа... – Он добавил после некоторого молчания: – Довольно странное соседство, вы не находите?»
Она не поняла.

«Я говорю, странное соседство. – Он показал на икону в другом углу. – Византийская Богоматерь и эта юная дама в бокале».

Анна Яковлевна сжала виски ладонями, ощупала узелок волос на затылке, послушайте, пролепетала она. Офицер взирал на неё несколько иронически.

«Послушайте... Может, это всё-таки ошибка?»

Она чуть не спросила: может быть, вы мне снится?»

«Вы имеете в виду...?»

«Я ничего не понимаю».

«Включите радио».

Она возразила: радио не работает.

«А вы попробуйте».

Музыка, металлический голос диктора. Гость встал и повернул винт; чёрный рупор умолк. Офицер опустился на диван. Есть ли кто-нибудь ещё в квартире, спросил он. Анна Яковлевна покачала головой. Выходит ли она из дому, известно ли ей, что происходит в городе?

«Немецкий капитан является к вам с визитом, не наводит ли это вас на некоторые, скажем так... догадки? Ну хорошо, – он улыбнулся, – не буду вас мучить. Все плохое уже позади. Операция “Тайфун” успешно завершена. Правда, с опозданием, по причине ужасных дорог. Да и погода не благоприятствовала. Русский климат, ничего не поделаешь!»

Анна Яковлевна молча, с ужасом, зажав рот ладонью, воззрилась на него, капитан закинул ногу на ногу, покачивал носком сапога, постукивал ладонью по колену.

«Военные действия ещё не закончились, но это, я думаю, дело двух-трёх недель, не больше... Три дня назад четвёртая и девятая армии вошли в Москву. Это для сведения».

«Город сдан?»

«Sie sagen es, Frau Baronin»⁶.

«Пожалуйста, не называйте меня так».

«В чём дело? Большевиков уже нет».

«Но мы, кажется, перешли в наступление...»

«Кто это – мы? – сказал он презрительно. – Вы хотите сказать: они. Можете не волноваться. Ложный провокационный слух».

«А как же Сталин?»

«Сталин бежал. Ушёл от ответственности. К сожалению, мы не смогли этому воспрепятствовать. В городе спокойно. Оккупационные власти следят за порядком. Есть кое-какие разрушения, но мы стараемся как можно скорее расчистить завалы, всё будет приведено в порядок. So ist es, Gnädigste⁷».

Молчание.

«Я рад, что вы не забыли родной язык».

«Я бы хотела его забыть», – пробормотала Анна Яковлевна.

«Ну-ну-ну. Не надо так говорить. Разве это такая уж неожиданность для вас? Я имею в виду развитие событий. С первых же дней было ясно, что Красная Армия продержится недолго. Впрочем, мы знали это заранее. Колосс на глиняных ногах. Если бы не погода, я думаю, всё завершилось бы ещё в сентябре».

«Вы сказали, война не кончена...»

⁵ Девушка в бокале (нем.)

⁶ Совершенно верно, баронесса (нем.)

⁷ Вот так, сударыня (нем.)

«Фактически она уже закончена».

Снова пауза, тишина, офицер, это видно по его глазам, по тому, как он постукивает ладонью по обтянутому сероголубой тканью колену, собирается приступить к главной теме.

Как он её разыскал?

«О, это не представляло большого труда. У нас есть списки».

«Позвольте всё-таки... Чему я обязана честью?..»

«Вы хотите сказать, честью моего посещения? Чувствуется прекрасное старое воспитание. Но я полагал, что вы и сами догадались, с какой целью я разыскал вас».

«Keine Ahnung»⁸.

«Вы последняя оставшаяся в живых наследница старого рода. Ваш муж погиб...»

«Жених...» – пробормотала она.

«Прошу прощения. Ваш жених погиб от рук большевиков».

«Откуда это известно?»

«Нам всё известно. Вы бывшая владелица этого дома».

«Мы здесь не жили...»

«Да, это был доходный дом. Семья жила... позвольте, где же находился особняк родителей? Ах да, вспомнил: на улице Поваров».

«На Поварской. Он сгорел».

«Ваш дом сгорел, имущество разграблено, мужчины расстреляны, вы сами чудом уцелели. И вот на склоне лет, одинокая, бесправная, в вечном страхе за свою жизнь, вы ютитесь в этой комнатухе, в квартире, где некогда жила одна семья, как и в других квартирах, а теперь её заселил всякий сброд... Не достаточно ли всего этого?»

Анна Яковлевна молчала. Умолк и офицер.

Он взглянул на часы, хлопнул себя по колену.

«Всё это теперь миновало, как дурной сон. В ближайшие недели будет заключено перемирие, Россия становится союзником рейха, состав будущего русского правительства уже известен. Но я полагаю, – впрочем, вопрос этот, как вы догадываетесь, уже согласован... – я полагаю, что дожидаться, когда новый порядок будет окончательно установлен, нет необходимости. Я предлагаю вам, баронесса, вернуться в Германию. Я не могу представить себе, что могло бы вас удерживать здесь, в этой злополучной стране, после всех бед, выпавших на вашу долю...»

Анна Яковлевна по-прежнему безмолвствует. Лицо капитана приняло непроницаемо-каменное выражение. Офицер сидит, прямой, неподвижный, с задранной подбородком, хрустальные глаза устремлены на хозяйку, но как будто не видят её.

Это что, приказ, прошептала она.

Он усмехнулся.

«Это не может быть приказом. Это приглашение. Вы немецкая дворянка, немецкая кровь течёт в ваших жилах. Вам будет немедленно предоставлено германское подданство, назначена пенсия».

«А если я откажусь?»

«В самом деле? (Подняв брови). Das ist doch nicht Ihr Ernst»⁹.

«Вы увезёте меня насильно?»

Капитан вздохнул. Сумашедшая, подумал он. Ничего не поделаешь, возраст. Или до такой степени запугана, что...

⁸ Понятия не имею (нем.)

⁹ Вы это всерьёз? (нем.)

«Конечно, нет. Никто не заставляет вас уезжать против вашей воли. Как я уже сказал, это приглашение. Как немка...»

«Mein Herr, – промолвила Анна Яковлевна, – я русская».

«Вы имеете в виду, – он показал подбородком на икону, – православное вероисповедание? В Германии русская церковь не преследуется, напротив. Мы видим в ней союзницу в борьбе за освобождение России от еврейско-большевистского ига».

«Я русская, я прожила здесь всю жизнь. И здесь умру. Воля ваша, но я никуда не поеду».

Гость склонил голову набок, с любопытством разглядывал Анну Яковлевну; внезапно грохнуло за окном, задребезжали стёкла.

«Виноват, – отрывисто сказал капитан. – Я должен идти».

Он коротко кивнул, надел фуражку. Хлопнула парадная дверь. Анна Яковлевна сидела не двигаясь и ждала следующего взрыва. Немного погодя снова тенькнул коридорный звонок; оккупант возвратился. Или?..

IX Диспут

27 ноября 1941 (продолжение)

«Как! вы в городе?»

«Увы, – отвечал, входя, доктор Каценеленбоген. – Я должен был уехать с внучкой, но мы потеряли друг друга в толпе, вы же знаете, что творилось».

«Я ничего не знаю».

«Ваше счастье. Это был какой-то ужас. Вдруг пронёсся слух, что немцы якобы уже в Химках. На вокзалах столпотворение. Одним словом, мы разминулись, а это был последний поезд».

«А ваша, э...?»

«Домработница? – Доктор пожал плечами. – Сбежала куда-то».

«Значит, вы теперь один».

«Один. Но, слава Богу, отогнали фрицев; я слышал, что из Сибири прибыло подкрепление».

«Из Сибири?»

«Или с Дальнего Востока. Свежие силы. Я думаю, в ближайшие дни наступит перелом».

«Дорогой мой... – сказала Анна Яковлевна, – я должна вас огорчить. У меня другие сведения. Но, ради Бога, раздевайтесь. Садитесь... Сейчас я сделаю чай».

«О! – сказал доктор Каценеленбоген, потирая ладони. – Горячего чайку было бы недурно. А у вас, похоже, вся квартира эвакуировалась?»

Она вернулась из кухни с чайником. Осторожно спросила, не попадался ли ему кто-нибудь навстречу в переулке.

«Город вымер».

«Доктор. К великому сожалению, у меня другие новости. Но я вижу, вы совершенно замёрзли».

«Продрог. Какие же новости?»

«Тут осталось немножко варенья. Ещё чашечку?.. Вы говорите, подкрепление. Друг мой... – Шёпотом, вперившись в доктора глазами, полными слёз: – Они в городе!»

«Кто?»

«Немцы!»

«Как! Что? Кто? Не понимаю».

«Да, – простонала она. – Я только что узнала».

Доктор Каценеленбоген воззрился на неё, подняв густейшие брови. «Да, да», – шептала Анна Яковлевна.

«Дорогая моя, успокойтесь. Всё будет хорошо».

«Доктор... мы погибли. Всё пропало».

Доктор Каценеленбоген вытянул из жилетного кармана крохотный флакон, схватил чашку, накапал. «Вот, – сказал он. – Выпейте... Этого не может быть и никогда не будет, это противоречит здравому смыслу».

«Господи, какой там здравый смысл...»

«Я своими глазами видел, как наши бойцы прошагали по Садовой, как шла кавалерия. Своими глазами».

«Друг мой, вы грезите, мы оба грезим...»

И тут опять, как набат, теньканье в коридоре.

«Это, наверное, он», – прошептала Анна Яковлевна.

«Кто – он?»

Анна Яковлевна, стиснув ладони, обвела глазами комнату, милый, дорогой, бормотала она, вам надо... Длинный раздражённый звонок потряс квартиру, ещё один, и ещё.

«Вам надо спрятаться, идите в уборную, запритесь там... Это немец, он уже был здесь... Кто там?» – спросила она, величественно плывя к парадной двери, послышался чёткий ответ, она вынула из гнезда дверную цепочку и отвернула защёлку английского замка.

Офицер в шинели с собачьим воротником прошагал мимо сундука и вступил в комнату.

Увидев чашки:

«Sie haben Besuch»¹⁰.

«Только что ушли».

«А я решил зайти к вам ещё раз. Может быть, вы передумали».

Он снял фуражку, расстегнул шинель, уселся, не дожидаясь приглашения.

«К сожалению, мне нечем вас угостить. Может быть, чаю?» – сказала она холодно.

«Благодарю. Вы не ответили...»

«Видите ли, mein Herr...» – и осеклась. Оба услышали торжественные шаги – появился, держа на руке щегольское пальто, с величественной миной, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, – пролепетала Анна Яковлевна, – позвольте вам представить... э...»

«Капитан Вернике. Я знал, что тут кто-то есть... Herr Doktor spricht deutsch?»

«Да, – сказал врач, – я говорю по-немецки».

«Приятно встретить культурного человека. Где вы научились языку, если позволите спросить?»

«Доктор, присядьте... вот тут можно...»

«Я учился в Гейдельберге. Это было давно».

«Как я понял, вы медик?»

Большой, грузный доктор Каценеленбоген, облачённый в костюм-тройку из английского коверкота, в широком галстуке и с цепочкой от часов на огромном животе, с опаской косился на стул, сопел, мрачно поглядывал из-под бровей.

«Для всех нас это новость... Мир сошёл с ума», – промолвила хозяйка.

«То, что мир сошёл с ума, что время сорвалось с оси, это знал ещё принц Гамлет, – возразил Вернике, – для вас это новость?.. Ах да, вы имеете в виду поражение Советов. Но, по здравом размышлении, это не должно удивлять. А вот вы меня, действительно, удивляете тем, что ни о чём не слышали. Кстати, Наполеон тоже был в Москве».

¹⁰ У вас гости (нем.)

«Да, но чем это кончилось», – сказал врач.

«Доктор, может быть, всё-таки вы присядете», – сказала Анна Яковлевна.

«Отлично знаем, – сказал Вернике, – как это началось и чем кончилось. Это были другие времена...»

«И другие завоеватели, хотите вы сказать?»

Стул затрещал под доктором, однако уцелел. Наступила пауза, мужчины взгляды вались друг в друга. Наконец, капитан произнёс:

«Я счастлив, что я увидел столицу царей, наследницу Византии. Эти башни, эти купола древних соборов. Счастлив, что имею возможность побывать в образованном кругу, где можно обменяться мнениями, так сказать, неофициально».

Гость умолк, ожидая ответа, и продолжал:

«Кстати, не лишено некоторой парадоксальности, что представителем русской интеллигенции в данном случае оказался, гм... Вы, если моё предположение правильно, иудей? Впрочем, оставим это. Хочу заметить, что население встречало немецкие войска с энтузиазмом».

«Вы так полагаете?»

«Я этому свидетель».

«С энтузиазмом... – проговорил доктор Каценеленбоген и похлопал себя по коленям. – Надолго ли?»

«Освобождение от тирании большевизма не могло не вызвать сочувствия. Как вы считаете?»

«Я не знаю, уместно ли здесь это слово: освобождение».

«Ага, вы так считаете. С политической точки зрения, кто же будет спорить, большевизм – наш враг. Но, в конце концов, политика – достояние узколобых умов. В некотором более высоком смысле наши цели были одни и те же».

«Какие же?» – поднял брови доктор Каценеленбоген.

Вернике усмехнулся.

«Были – я подчёркиваю. Видимо, для вас это тоже новость, попробую объяснить. Мы, как вам известно, национал-социалисты. Сталин провозгласил социализм в одной стране – национальный социализм, обратите внимание на совпадение терминов. Ленинская мировая революция, разумеется, нонсенс, и можно лишь удивляться тому, что трезвый политик верил в эти фантазии, чисто русская черта, впрочем. Сталин исправил Ленина. Невозможно всколыхнуть сразу всех. История предназначила двум нациям роль зачинателей. Если хотите – поджигателей. Простите, если позволю себе несколько патетический стиль, но ведь иначе об этом не скажешь – только огонь очистит мир. Нужно спалить обветшалый клоповник истории. Взорвать публичный дом западного либерализма... Германия и Россия – вот кому предстояло огнём и мечом проложить путь для других народов».

«Допустим. Но зачем же тогда понадобилось...»

«Минуточку, герр доктор, дайте мне договорить. Великая немецкая национал-социалистическая революция, как и русская революция, была направлена против гнилого упадочного Запада. Мы, немцы, – срединная держава, мы не Запад в том смысле, в котором говорится о Франции или Англии, мы – фаустовская культура, устоявшая против торгашеской цивилизации, но, в отличие от вас, мы сочетаем здоровый почвенный романтизм с железной дисциплиной. Западная демократия изжила себя. Либерализм на данном этапе, быть может, самый страшный враг человечества. Демократия выродилась, продалась капиталу – это не демократия, а плутократия... Вы хотите что-то сказать, возразить?»

Доктор молча смотрел на капитана, как врач оглядывает больного. Кивнул, убедившись, что диагноз подтверждается.

«Но русская национальная революция провалилась, её идеалы извращены. Будем смотреть правде в лицо, я не хочу вас оскорблять, но вы же не станете отрицать, что власть в этой стране захватила еврейско-большевистская клика. Мы

должны были её сокрушить, вернуть России её предназначение. Два цвета нашего времени, нашей великой эпохи – красный и чёрный, цвета борьбы и трагизма. Жертвенная кровь и геройская смерть».

Анна Яковлевна прислушивалась к тишине в квартире и, как ей казалось, во всем городе.

«Вы видите, – Вернике снова нарушил молчание, – я перешёл к главному, хотя в двух словах изложить всё это трудно. К сожалению, у нас мало времени...»

«И в чём же состоит это главное?» – спросил доктор Каценеленбоген.

«Одну минуту. Где у вас телефон? Есть у вас телефон?»

«В коридоре, – сказала Анна Яковлевна. – Но он, кажется, не работает».

«У нас всё работает. Так вот, – сказал Вернике, возвращаясь. – Переживание истории как борьбы высшего начала с низшим и неполноценным, молодости со старостью, идеализма с материализмом – всё это только разные проявления, если хотите, иносказания фундаментального конфликта. Конфликта эстетики с безобразием. Вот разгадка истории! К несчастью, русская нация лишилась инстинкта красоты. Он был присущ ей когда-то, в былые века, иначе откуда бы взялся этим дивным храмам, этим фрескам, возродившим угасшее искусство Византии...»

Капитан Вернике умолк, ответом было молчание.

«Да, лишился этого чувства, этого понимания красоты. Иначе он почувствовал бы, насколько уродлив и антиэстетичен навязанный ему режим. Этот народ нуждается в перевоспитании...»

«По моим воспоминаниям... – промолвил, наконец, доктор Каценеленбоген, стараясь дотянуться до носа верхней губой, – по моим воспоминаниям, Германия – страна прекрасных ухоженных городов, чистых улиц. Это была страна порядочных людей. Но что касается эстетики... Впрочем, я не специалист».

«Вот именно. А я по образованию историк искусств. Вы побывали в рейхе, но, как я понимаю, не застали великие дни. Если бы вы увидели однажды этот марш отборных отрядов, с головы до ног одетых в чёрное, под кровавыми стягами, погруженные в эту стихию мужественности, музыки, молодости... Не думайте, что я вульгарный расист. Для меня понятие расы – это прежде всего духовная категория. Коллективная душа! Вот истинное средоточие исконных расовых начал. Увы! – воскликнул Вернике, вставая с ветхого дивана. – Die Zeit ist um¹¹. Машина ждёт у подъезда. Я, собственно, – отнёсся он к доктору, – пришёл за вами».

Он застегнул собачью шинель, взялся за козырёк фуражки.

«Баронесса, честь имею. Подумайте ещё раз над моим предложением... Вас попрошу следовать за мной».

«Куда?» – спросил доктор Каценеленбоген.

«Как это, куда. Разве вы не видели объявлений в городе? Вы ещё вчера должны были явиться на сборный пункт».

«Господин офицер! – взмолилась Анна Яковлевна. – Господин офицер... Куда, за что? Доктор Каценеленбоген – уважаемое лицо во всей округе...»

«Моё почтение», – сказал капитан холодно.

«Я решительно возражаю! Я бы хотела связаться с вашим начальством».

«Полагаю, в этом нет надобности. Порядок есть порядок. Мы заедем к вам домой, вы заберёте с собой семью».

«У меня никого нет, – сказал доктор. – Дорогая, не волнуйтесь. Я уверен, что всё уладится». Он стоял, огромный, грузный, палка с набалдашником в правой руке, пальто и шляпа в левой. Капитан ждал, пошевеливал бровями.

«М-да, – сказал доктор. – Могу ли я, если позволите... на одну минуту?»

«В уборную?»

«Да. Могу ли я сходить в уборную?»

¹¹ Время истекло (нем.)

Капитан усмехнулся: «Сделайте одолжение».

Доктор Каценеленбоген прошествовал по коридору, капитан маршировал следом за ним и остановился у выхода, перед электрическим счётчиком. Доктор Каценеленбоген вступил в закуток и накиннул дверной крючок на петлю. Прочёл наставление. Взглянул на клозетную библиотеку и шумно втянул воздух в широкие ноздри.

История как борьба эстетики с безобразием. Это уже что-то новое, подумал он (или проговорил), вытянул часы из карманчика брюк, потрогал пульс. После чего, ощутив себя, добыл коробочку в виде крошечного пенала. Некоторое время доктор Каценеленбоген любовался аккуратным гимназическим почерком Анны Яковлевны, покручивал на пальце кольцо с жёлтым камнем, затем дёрнул висячую фаянсовую грушу на цепочке, раздался шум спускаемой воды. Доктор раздавил во рту ампулу и успел почувствовать боль от осколков тонкого стекла, впившихся в дёсны.

Х Побег № 1

1944 год

Существуют города без истории, каменные шатры вчерашних феллахов, там и сям раскиданные на огромных пространствах, существуют города, у которых впереди – солончаки бесплодного будущего, где обрюзгшие женщины выплёскивают помои перед порогом своих жилищ, где грохочет механическая музыка, где коровы жуют газету на пустыре и ветер несёт по ухабистым улицам пыль, сор и беспамятство. Существуют неодошевлённые города и одошевлённые.

И есть душа Города. Нет, это не *genius loci*, дух места, или как там это называется; её, эту душу, создало наше воображение, но незаметно она отделилась от нас, чтобы являться в таинственных снах, манить к себе перезвоном ночных курантов по радио, за тысячу километров. Душа Города бродит по опустевшим улицам, ищет тебя, заглядывает в подворотни, забирается на чердаки. Давно уже прекратились ночные налёты, война ушла на запад, но душа великого города всё ещё озирает горизонт, вперяется в тёмное небо. И ты догадываешься, что это твоя заблудившаяся душа, и тут уже начинается какая-то мистика, ностальгическая одержимость, то самое *Dahin! Dahin!*¹² ах, не будем больше об этом, тем более, что дальнейшее, в перспективе лет, представляется фантазмагорией. Но что было, то было: карабкаясь под вагонами, выпутавшись из паутины рельсовых путей на станции «Москва-Товарная», озираясь и совершив бросок, подросток скрылся за пакгаузами. Оттуда зорко выглядывал, ждал темноты, караулил огни медленно приближающегося товарняка, выбежал, улучив момент, отважно схватился за железный поручень, взобрался на тормозную площадку, ехал, вовремя спрыгнул, и... что же дальше, трудно поверить – он цел и невредим, и никем не сцапан, никому не попался на глаза, он бредёт с тощим рюкзаком за спиной по черным от угольной пыли подъездным путям, по задворкам Ярославского вокзала, и душа Города обнимает его, впускает в себя. Помедлив, была не была, он пересёк площадь вокзалов.

Стемнело, он плетётся в изнеможении, хоть ложись на тротуар, мимо круглой, в виде туннеля, станции метро, сворачивает в переулок, и тут внезапно фиолетовое небо озаряется нездешним свечением, лопаются ракетницы, над крышами расцветают алые, жёлтые, зелёные цветы, рассыпаются искрами, ура! – взяты ещё

¹² Туда, туда! (Гёте)

один город, непрерывная череда побед. Писатель забыл обо всём, задрал голову, открыв рот, стоит перед подъездом. Неужто в последний момент он потерял бдительность?

Он входит. Он подкрался! Пальцем, осторо-о-ожненко – пуговку звонка. В ответ ни звука. Звонки не работают. Он ещё раз, посильней. В коридоре дребезжит колокольчик. Молчание, там никого нет. Сердце грохочет, как сумасшедшее, от ударов подпрыгивает каменный пол, шатается лестница. Блудный сын, паломник с сумой за плечами, не хватает только посоха, в отчаянии снова тянется к звонку. Он не успел нажать, как дверь приоткрылась, натянулась цепочка, тусклый свет брызнул из коридора. Сквозь щель выглянуло перепуганное сморщенное личико. И сейчас же дверь захлопнулась. Он топчется на площадке. Его не впустили. Мёртвое молчание в доме. Его просто не впустили, мало ли кто вломится – война! И вся немыслимая авантюра – попробуй-ка в те годы, думал писатель, вернуться в закрытый город без вызова, с подделанной метрикой, – вся долгая дорога, всё напрасно. Он стоит, понурясь, в чужом, холодном подъезде, перед дверью в чужую квартиру, тупо соображает, что же дальше, куда теперь, и так же медленно движется время, на самом деле не прошло и минуты. Звякнула цепочка. Его хватают за руку, тащат по коридору мимо вечного сундука – скорей, чтобы никто не увидел.

Мы сказали, побег; может быть, лучше: *прибег?* Прибежище. Прибегнуть к чему, прибежать куда.

Анна Яковлевна, маленькая, нисколько не изменившаяся, с только что зажженным, тотчас погасшим «Дукатом» в увядших устах, сидит в кресле. Он – на диване. На том же самом диване.

«Ох, ох. Н-да... Ну и вид у тебя».

Нужно отдать ей справедливость, она не задает лишних вопросов. Пусть мальчик говорит сам.

Все же она спросила: а где мама?

Там, сказал он. Его рассказ был сбивчив, лаконичен, а чего рассказывать, в общем-то, бормотал он, то есть, конечно... И, одним словом, оказалось, что он сбежал! Да, рванул, бежал из эвакуации, как когда-то гимназисты убегали в Америку, сперва на барже по широкой медлительной реке, потом в товарных поездах, умудрился обойти посты дорожного контроля, военные патрули, милицию.

Он умолчал о том, что в дороге просил милостыню, спасся от странных заигрываний какого-то типа в пенсне и шляпе, о том, как, драпая от контролёров, на ходу спрыгнул на насыпь, чуть не сломал ногу, чуть было не оказался в шайке воров, ночевал в подвалах, лишившись на какое-то время чувств, был подобран, очутился в детприемнике, бежал. Господи, лепечет Анна Яковлевна и крестится, Богородица святая, спасибо! Но как же мама? Оставил письмо на столе, говорит он, я ей отсюда напишу, дурачок, возражает Анна Яковлевна, письмо перехватят, сейчас все письма контролируются, уж не знаю, вздыхает она, как она там будет выпутываться, можно ли туда позвонить? дать телеграмму? Как-нибудь дать понять, что он жив и здоров. Я взял денег, говорит он, у матери, – то есть украл? – он пожирает плечами, а что тут такого, – как это, что тут такого! – нет, подумай только, – и снова: как же ты добрался? – и в самом деле, много лет спустя эта ночь кажется сказочно неправдоподобной.

«Да что же это я!» – она спохватывается. С погасшей папиросой во рту бежит на кухню. Потом надо будет помыться, все эти лохмотья вон, вон! Я их вынесу на помойку. Как-нибудь устроимся, я схожу в милицию, поговорю с Самсоном Самсонычем, приватно, он хороший человек, что-нибудь придумаем, внук приехал, а может, рассказать всё как есть, здесь родился, был прописан с родителями, отец погиб на фронте, мать в эвакуации, комнату заняли, пусть пока поживет у меня, а там посмотрим... о, как всё повторяется, как напоминает двадцатый год. Анна

Яковлевна входит в комнату с чайником и сковородой, но мальчик уже спит на диване, подложив рюкзак под голову, подтянув к животу ноги в опорках.

Он спит крепко, непробудно, как спит солдат в окопе, как спят в отрочестве. В кресле прикорнула Анна Яковлевна. И понемногу, неслышно, крадучись, в комнату входят сны. Сны, о которых он тотчас забудет, стоит ему только открыть глаза, и непостижимым образом вспомнит о них годы спустя.

XI Берлин

16 апреля 1945

1

Все полевые и тыловые госпитали, медленно, от станции к станции продвигающиеся санитарные эшелоны и замаскированные, с погасшими огнями, госпитальные суда были переполнены ранеными, умирающими, изувеченными, неизвестно было в точности, сколько их было, и никто не знал, сколько убитых наповал, засыпанных землёй, задохнувшихся в дыму и задавленных рухнувшими перекрытиями лежало на полях и среди руин. Война достигла крайней точки ожесточения, когда счёт потерь потерял смысл. Те, кто отступал, дали себя убедить, что вместе с крушением государства исчезнет с лица земли вся их страна, и старались уничтожить всё, что оставляли за собой. Те, кто заседал, держались тактики, суть которой выражалась в трёх словах: выжечь всё впереди. Надо было спешить, американцы уже вышли на Эльбу. Успех обещало огромное превосходство сил.

В три часа ночи рванули двадцать тысяч артиллерийских стволов. Несколько сот катюш изрыгнули свою начинку; горячий ураганный ветер пронёсся над всем пространством от низины Одера до Берлина; прах и пепел висели в воздухе, горели леса. Через полчаса всё смолкло, белый луч взлетел к небесам. Вспыхнули слепящие зеркала ста сорока прожекторов противовоздушной обороны. Двадцать армий двинулись вперёд. Но ослепить противника не удалось: дым пожаров застлал окрестность. Не учли распутицу, болотную топь, густую сеть обводных каналов на подступах к Зеловским холмам. Во мгле атакующая пехота блуждала, потеряв направление.

С рассветом возросло вражеское сопротивление. Очевидно, там были использованы последние резервы. Прорыв был всего лишь вопросом времени. Но диктатор на подмосковной даче выражал нетерпение. Он приказал наступать конкурирующей армии на юге со стороны Нейссе. Были введены вторые эшелоны стрелковых дивизий, в десять часов снялся с места стоявший наготове танковый корпус. Чем ближе наступающие войска подходили к высотам — последнему плацдарму ближних подступов к цитадели врага, тем упорней было противодействие. Под вечер командующий ввёл в сражение обе танковые армии. В хаосе танки давили своих. Успех все еще не был достигнут. Двенадцать тысяч немцев и тридцать тысяч русских остались лежать в талой воде среди болот и на крутых склонах. Так, спотыкаясь и отшатываясь, и вновь заседая, и оставляя кровавый след, армии двух соперничающих фронтов, всё ещё называвшихся по старой памяти Первым Белорусским и Первым Украинским, обошли с флангов и взяли в клещи вражескую столицу.

Писатель задал себе вопрос, что ему Гекуба. Зачем ему этот очерк последнего сражения, и не довольно ли уже говорилось об этом, — зачем ему история, если вечной темой литературы может быть только история души. И не мог найти ответ, — разве только тот, что память об этих днях, как пыль и копать уничтоженных городов, осела на окнах века, так что её не отмоешь; разве только та неотвязная

мысль, что ещё одна такая война, *ещё одна такая победа*, – и наш мир погибнет окончательно.

Он спросил себя, что ему эти вожди, о которых – забыть, забыть, забыть! И не мог найти никакого другого ответа, как только тот, что наша судьба – всю жизнь созерцать эти убожочные иконы века.

Изредка, в минуты грозных событий, вершители судеб, те, от которых зависела жизнь миллионов людей, кто отождествил себя с историей и в самом деле олицетворял её слепую волю, испытывали, насколько это было возможно при их ограниченных способностях, что-то вроде смутного прозрения. Не разум, но тягостное чувство говорило им, что гигантские скрежещущие колёса, чей ход, как им казалось, они направляют по своему усмотрению и произволу, увлекают за собой их самих. Как если бы, уцепившись за что попало, они вращались в огромном грохочущем механизме, который сами же запустили. Оба, карлик в Кремле и тот, другой, укрывшийся в катакомбах под парком Новой имперской канцелярии, оба, побеждающий и побеждённый, испытывали одно и то же мистическое чувство зависимости, ненавидели его, но и гордились им, ведь оно подтверждало их уверенность в том, что все самые безумные решения оправданы и одобрены высочайшей инстанцией – тем, что один называл законами истории, а другой Провидением.

2

Теперь от линии фронта до правительственного квартала можно доехать на трамвае – если бы ходили трамваи. День померк. Офицер с чёрной повязкой на глазу, с Рыцарским крестом на шее, выставив трость, выбрался из машины на углу площади императора Вильгельма – от барочного дворца Старой имперской канцелярии остался только фасад. Офицер показал пропуск, молча ответил на приветствие наружной охраны, поскрипывая протезом, пересёк бывший Двор почёта. Прямой и надменный, он прошагал мимо обломков плоского постамента, на котором некогда стоял голый, в два человеческих роста, воин-победитель с мечом, творение ваятеля-лауреата Арно Брекера.

Неожиданная встреча ожидала гостя при входе в сад: рослый худой человек в камуфляжной форме фронтовых СС с кубиками гауптштурмфюрера в левой петлице, что соответствовало капитану, стоял, как памятник, с рукой, простёртой в римско-германском приветствии. В светлых весенних сумерках, как хрусталь, блестяли его глаза, и можно было разглядеть губы, соединённые рубцом, результат не вполне удачной операции. В углу рта осталось отверстие для приёма пищи. Приезжий кивнул на ходу, капитан выдавливал из зашитого рта мычание, блеющие звуки, ничего понять было невозможно, да и незачем. Офицер с Рыцарским крестом маршировал, подпрыгивая на протезе, обходил воронки от снарядов, перебрасывал искусственную ногу через поваленные стволы цветущих деревьев. На газонах белели, розовели левкои. Это было лучшее время года. Он приблизился к невысокой бетонной башне, вновь извлёк из нагрудного кармана свою книжечку.

Постовой внешнего караула, с лицом бульдога, в звании унтерштурмфюрера, держа перед собой, как оружие, карманный прожектор, переводил взгляд с фотографии на командированного, с командированного на фотографию. Щёлкнул каблуками. По узкой, в три марша, лестнице штабной офицер Двенадцатой армии генерала Венка, стоявшей, как считалось, насмерть в семидесяти километрах от Берлина, полковник Карл-Дитмар Вернике, стуча тростью, сошёл в преисподнюю.

3

Бункер представляет собой инженерный шедевр XX века. Под тщательно замаскированными, укрытыми дёрном и травой плитами толщиной в двенадцать, а

где и пятнадцать метров, расположен лабиринт коридоров. Стальные двери, комнаты персонала, кладовые, забытые продовольствием, общая кухня и диетическая кухня вождя, запасные выходы наружу. Далее по главному проходу до винтовой лестницы, спуститься ещё ниже – из предбункера вы попадёте в главное подземелье, называемое бункером фюрера. Встреченный двумя дежурными, посланец с повязкой пирата минует комнату службы безопасности и тамбур газоубежища, хромает по центральному коридору под вереницей ламп в защитных сетках, под рядами электрических и телефонных кабелей на низком потолке, мимо щитов сигнализации, ответвлений, пересекающих коридор, мимо спальни министра пропаганды, спальни рейхсляйтера Бормана, комнаты лейб-профессора медицины Штумпфеггера, комнаты лейб-овчарки Блонди с четырьмя щенками, мимо личных апартаментов фюрера и прибывшей в Берлин три дня тому назад фрейлейн Браун. А там второе газоубежище, секретариат, где стрекочут пишущие машинки, конференц-зал – давно уже ежедневные оперативные заседания перенесены из канцелярии фюрера сюда. Из машинного отделения доносится рокот дизельных агрегатов. Бетонированное сердце империи. Как уже сказано, высшее достижение строительной техники нашего времени.

Сюда не доносились звуки войны, не было слышно взрывов английских авиабомб, и даже грохот крепостных орудий, подтянутых русскими к городским окраинам, лишь слабым сотрясением, далёким мистическим эхом отдавался в ушах; здесь, в мертвенно-белом сиянии голых ламп, вели фантастический потусторонний образ жизни, происходила неустанная деятельность, принимались решения и отдавались распоряжения.

Здесь верили слухам, плели интриги, ждали неслыханных перемен, чудесного избавления, пришествия армии Венка, ударного корпуса Гольсте, раскола между Россией и союзниками; здесь ночь не отличалась от дня, здесь люди-тени отсиживались в своих норах, люди-призраки с незрячими воспалёнными глазами, в фуражках с задранный тульей, в приталенных мундирах и галифе, обтягивающих колени, встречаясь, молча отдавали друг другу ритуальный салют, теснились в зале над столом с картами, подхватывали на лету падающий монокль, чертили стрелы воображаемых контрнаступлений; здесь фюрер, с лупой в мелко дрожащей руке, водил пальцем по карте города и предместий и отдавал приказы несуществующим армиям; здесь пили вино и вперялись стекленеющим взглядом в пространство, в покрытые извёсткой стены и потолки. Здесь доктор Геббельс в спальне вождя читал вслух «Историю Фридриха Великого» Томаса Карлайля, вещи, пророческие страницы о том, как вслед ослепительным победам Семилетней войны наступили тяжкие дни, но в последний момент PROVIDENCE спасло короля.

Отстегнув протез, полковник укладывается на ночь в предбункере, в спальном помещении для высших офицеров. Слышны детские голоса – за стеной размещено семейство министра пропаганды. Рядом душевые кабины и уборные. Накануне нарушилось водоснабжение, к счастью, ненадолго. Но всё ещё пованивает эксcrementами.

ХII Праздник

20 апреля 1945

Длинными извилистыми переходами под землёй предбункер соединён с катакомбами под имперской канцелярией, вдоль всего помпезного фасада, по ходу Фосс-штрассе до пересечения с Герман-Геринг-штрассе. Рейх, оскаленная голова, лишённая туловища, зарылся в землю. На глубине двадцати метров расположены пещеры высших военно-государственных чинов. Здесь обитают начальник

генштаба Кребс, шеф-адъютант фюрера Бургдорф, личный пилот фюрера генерал Баур и другие, далее охрана, телефонная станция, лазарет, то и дело поступают раненые, очередь санитаров с носилками забила проход, мертвенное сияние ламп на потолках, под проволочными колпаками, вздрагивает от далеких взрывов. Раненые лежат вдоль стен на полу, между ними снуют медицинские сёстры и девушки вспомогательной службы, в подземной операционной оберштурмбаннфюрер и профессор Хазе в заляпанном кровью халате, с двумя ассистентами, без усталости тампонирует раны, отсекает омертвевшую плоть, ампутирует конечности. В подвалах корпят над картоном картографы, переминаются с ноги на ногу адъютанты, стрекочут машинки секретарш, постукивают ключи радистов, население прибывает – жёны, дети, – испарения пота, мочи, отчаяния, сырой и душный запах от бетонных стен. А тем временем наверху, в завесах дыма и пыли, над сгоревшими садами Брегерсдорфа и Фогельсдорфа встаёт мутно-жёлтое солнце. Знаменательный день; в программе – парад в саду имперской канцелярии, церемония в зале, поздравления в рабочей комнате вождя, а затем, как всегда, доклад и обсуждение обстановки в конференц-зале бункера: положение в Берлине, положение на западном фронте, положение на аппенинском фронте.

Знаменательный день, на газонах застыли войска: два подразделения бывшей Курляндской армии. В две шеренги выстроились ветераны – всё, что осталось от танковой дивизии СС «Фрундсберг». Промаршировал и подстроился в ряд отряд подростков, истребителей танков. Фотографы и операторы наставили свои камеры перед явлением вождя и его соратников. Под гром барабанов, в низко надвинутых касках, головы налево, выбрасывая ноги в узких глянцевых сапогах, вышагивает подразделение лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Два солдата сопроводительной команды ведут низкорослого, растерянного, плохо соображающего, что к чему, солдата в огромной болтающейся каске. Мальчик подбил на Потсдамской площади русский танк. Фюрер ему Железный крест на грудь, фюрер треплет малыша по щеке.

Патетическим жестом – в бой! По бледноглубому небу проплыли и растаяли нежные рисовые облака. Завыли сирены...

Поздравительный акт в правом, неповрежденном крыле канцелярии. Между высокими четырехугольными колоннами главного портала проходят сероголубые мундиры военных и чёрные мундиры СС, второй портал – для руководителей партии. Стража с автоматами наперевес; в вестибюле проверяют всех, невзирая на чины и награды. Чертог фюрера пуст, исчез гигантский рабочий стол, нет глобуса, нет роскошных кресел, на стенах между окнами следы снятых картин, на потолке там и сям осыпалась штукатурка.

Сенсационная новость – поздравлять придётся заочно. Фюрер улетел на юг. Оттуда, из Альпийской крепости, он возглавит оборону. Новый план, гениальный шахматный ход: если, что весьма вероятно, русские и американцы, наступая навстречу друг другу, рассекут страну пополам, гросс-адмирал Дёниц на севере и фельдмаршал Кессельринг на юге возьмут врага в стратегические клещи. И тогда посмотрим, кто кого.

Толпа заволновалась – тишина – и вот уже все глаза устремлены к высоким дверям. Он здесь, он остался в Берлине! Распахнулись створы. Он явился.

Нет, это ещё не закат: 56 лет – возраст свершений. Правда, он выглядит значительно старше, передвигается, наклонившись вперёд, тащит за собой непослушную ногу, правой рукой удерживает дрожащую левую, голова ушла в плечи, он жёлт и согбен. Всю ночь в подземном кабинете фюрер бодрствовал наедине с самим собой, под портретом остроносого человека в треуголке. Двести лет тому назад, вот так же накануне катастрофы, великий король метался от одной границы к другой, искал выход. Провидение пришло на помощь. В Санкт-Петербурге скончалась царица Элизабет, и новый царь протянул Фридриху руку мира. Вождь сидел

с толстой лупой над гороскопом, вперялся в значки планет и читал лукавые объяснения. Была констатирована растущая акцидентальная немощность Сатурна. Светлый Юпитер издалека подмигивал Марсу. Вот оно! Перелом должен произойти в последней трети апреля.

Он обходит широкий полукруг поздравителей, вялым движением отвечает на вскинутые руки, вполуха выслушивает льстивые пожелания. Он остановился посредине, застыл, по обыкновению прикрыв руками детородный член. Но у фюрера нет и не может быть детей. Он отец нации, одновременно её великий сын и состоит с ней в священном инцестуальном браке. Запинаясь и глядя вниз, точно с полу подбирая слова, он заговорил. Пока ещё еле слышно – стоящие на флангах напрягают слух. Медленно возвёл слезящийся взор к потолку. Поднял руки. И произошло то, что бывало с ним в ответственные минуты: фюрер воскрес. Фюрер вновь зарядился от невидимых аккумуляторов. Всё или ничего! Гибель – или победа! Стоя посреди зала, он гремел, рыдал, заклинал, потрясал кулаками и вонзал в пространство указующий перст. И, пожалуй, не так уж было важно, что он выдавливал и выкрикивал, – нечто в звуках его голоса, не подвластное рассудку, было важнее слов.

Как вдруг он успокоился. Он сказал, что этой ночью принял окончательное решение остаться в столице и сам поведёт войска в решительный бой. Капитулировать? – спросил он и впился в лица поздравителей. Никогда!

Это с одной стороны. Но есть и трезвый расчёт. Невозможно, сказал он, сомневаться в том, что именно сейчас, здесь наступил высший и решающий момент. Если, о чём имеются верные сведения, в стане врагов наметился раскол, если в Сан-Франциско между союзниками пролегла глубокая трещина, значит, поворот близок. Раскол неизбежен теперь, когда хищники собираются делить добычу. Поворот наступит, когда здесь, в самом сердце Германии, в центре, я – и он снова взорвался, взвился, вознес слезящиеся глаза к потолку, бил себя в грудь, – нанесу сокрушительный удар большевистско-еврейскому колоссу. Ещё не всё потеряно!

Генерал-полковник Вальтер Венк идёт на выручку, 12-я армия на подходе. Колев и Жуков не сумели сомкнуть кольцо окружения на юго-востоке. Поступили данные о том, что между двумя генералами наметилось соперничество. Не исключено, что они выступают друг против друга. В любом случае между Маловом и Шёнфельдом войска прочно удерживают проход. Каждому – жуть обвёл инфернальным взором застывший полукруг – каждому предоставляется решить, готов ли он сражаться, готов ли пасть в бою на улицах Берлина, в предвидении пробивающих к городу войск, в преддверии победы, – или захочет покинуть столицу. *Um Gottes willen!*¹³ Он никого не держит!

Полковник Вернике вперился единственным глазом в того, о ком только и можно сказать: этот человек – сама судьба. Что такое судьба... слово, исполненное глубокого смысла, или вовсе лишённое всякого смысла? То, о чём догадываются задним числом, не замечая, что на самом деле это наше собственное измышление? Или нечто предписанное, предуказанное, непреложное, неумолимое? *Mein Führer!* Вы сказали: «Венк, я вручаю тебе судьбу Германии». Это было в начале апреля. Но теперь нет никакой армии Венка, нет и не будет. Её попросту не существует.

Я был откомандирован в Берлин, оставил штаб 12-й армии, когда Венк успел пробиться до Потсдама. Дальше – ни на шаг. От двухсот тысяч личного состава осталось 40 тысяч, от дивизий «Клаузевиц», «Шарнгорст», «Потсдам», «Ульрих фон Гуттен» по горстке солдат, а то, что ещё имеется в нашем распоряжении, –

¹³ Ради Бога (нем.)

три пехотных дивизии, два артиллерийских дивизиона и противотанковая бригада, – смешно сказать, на 90% укомплектованы из 17–18-летних юнцов. Вот вам и вся Befreiungsarmee¹⁴. Я знал о решении генерала спасти уцелевших. Попросту говоря, совершить измену. Измену – тебе, мой фюрер! И больше никому... Должно быть, остатки 12-й армии уже переправились через Эльбу и сдались американцам.

Вы считаете, что весь немецкий народ ждёт, когда вы лично появитесь во главе войск на поле боя. Что представляет собой это поле боя?.. Мы в разрушенном городе. Мы не стоим лицом к лицу с противником. Мы окружены. Мы держим оборону на одной улице, русские продвигаются по другой. Мы засели на верхних этажах, русские ворвались в подъезд. И, однако, он прав: если наступил конец, надо встретить его достойно. Немецкий народ не сумел выполнить свою миссию – значит, он должен погибнуть. Нам всем крышка, думал Вернике. Слепому ясно, это конец. Семья погибла в Дрездене, он сам калека. Отчего всё так получилось? После триумфального марша по Европе, почти уже увенчавшегося победой русско-го похода. После этого «чуть-чуть». Ещё немного, и война была бы закончена, грузин повис бы на виселице, еврейский Ваал обуглился в собственной печи. – Он слушал и не слушал вождя. – А что, если бы вместо войны с Советами мы повернули оружие против общего врага, растленного Запада?

Вместе с Россией? И потом поделить с ней континент. Чуть, абсурд, какой это союзник – эта нация созрела для завоевания. Сталин разрушил собственную армию, потерпел постыдное поражение от финнов. Русские мужики ненавидели колхозы, комиссаров и жидов, население ждало освободителей. И вот теперь этот народ – чудовищная насмешка истории! – народ, не умеющий работать, не приученный к дисциплине, народ, не способный устроить свою жизнь на огромных территориях, лишённый исторического сознания, чуждый понятию красоты, величия, порядка, – гунны, вандалы! – здесь. Наши прекрасные города в развалинах, цвет нации полёг под Сталинградом, в Греции, в Африке, на дне морей. Вот он, подлинный закат Европы, трагический финал эллинско-арийской, нордической цивилизации.

Слабый шум отвлек внимание, шёпот, возмущённые реплики. Каким-то образом миновал тройную охрану, оказался позади собравшихся исхудалый человек в полевой форме сражающихся СС, мычит зашитым ртом и машет руками.

Глухо, тяжело ухает артиллерия, сыплется штукатурка. Фюрер вернулся в бункер. Марш соратников. Впереди шествует в необъятных галифе с двойными лампасами, в роскошном мундире, в крестах и звёздах, могучий, тучный Геринг. Рейхсмаршал прибыл на рассвете из Карингалла. Фургоны с картинами, вазами, скульптурами, древним оружием и драгоценным мобильяром отправились на юг. Рейхсмаршал собственноручно включил взрыватель, вилла взлетела на воздух. За Герингом поспешает маленький, припадающий на ногу Геббельс, шагает каменный Борман, шагает Гиммлер, у которого за сверкающими стёклышками пенсне никогда не видно глаз, плетётся яйцеголовый Лей, кто там ещё. Шествие хтонических богов. Один за другим, по узкой трёхмаршевой лестнице они возвращаются к себе в подземное царство. Фюрер родился. Пятьдесят шесть лет тому назад, в эти же часы младенец закричал, которому предстояло перевернуть мир. В рабочей комнате накрыт стол. Секретарши ждут, причёсанные и напомаженные, с оголёнными плечами, в праздничных длинных платьях. Из спальни вышла фрейлейн Браун.

На ней был «дирндль», что значит деревенская девчонка, любимыми фюрером баварский наряд: белоснежная блузка с короткими рукавами-фонариками, корсаж и просторная юбка из тёмно-красного муара, клетчатый, болотного цвета шурц-

¹⁴ армия-освободительница (нем.)

передник. Белые чулки и крохотные туфельки. Очередь к имениннику, щёлкают каблуки, – фюрер сидя чокался с кланяющимися.

Ева топнула ножкой:

«Я хочу танцевать!»

Зашипел патефон, раздался мяукающий голосок знаменитой эстрадной певицы: то были «Розы, красные, как кровь», шлягер тридцатых годов. О, как защемило сердце, как напомнила эта мелодия о счастливых временах. Вождь встал, церемонно пригласил секретаршу Траудль Юнге. Весёлый, неунывающий группенфюрер Фегелейн – подруга фюрера приходилась ему свояченицей – с бутылкой в руке дирижировал танцем, допив свой бокал, мужественно облапил Еву. Три тура, после чего плавно, полузакрыв глаза, Ева перешла в объятия Вернике. Полковник переставлял поскрипывающую ногу, самоотверженно вёл свою даму; вдруг всё смолкло, все остановились. Пробили часы. Величайший полководец всех времён и народов, подперев рукой подбородок, с плавающим взором внимает грому литавр, могучим всплескам оркестра. Траурный марш из «Гибели богов», ночное факельное шествие с телом коварно убитого Зигфрида.

XIII Всё еще не конец

30 апреля 1945

Вождь сидел, понурившись, на диванчике, там и сям были разбросаны цветы, на стене остались брызги крови, на полу лежал вальтер калибра 7,65 мм, на правом виске у фюрера было круглое отверстие величиной с пятипфенниговую монету, на щеке, протянувшись до шеи, подсыхала змейка крови. Ева, в небесно-голубом платье, примостилась у его ног, с открытыми глазами, с чёрно-лиловым отверстием в рту; её пистолет с неразряжённым магазином лежал на столе. Пахло порохом и миндалём.

Снаружи по-прежнему гремела пальба, дым пожаров застлал небосвод, пепел порхал над садом Имперской канцелярии, комья земли, щебёнка, осколки снарядов сыпались то и дело на башенку бункера. День переломился. Показались, бессильно покачиваясь, лакированные сапоги, брюки, френч и туфлеобразный нос фюрера под лакированным козырьком. Камердинер Линге и шофёр Кемпка опустили труп на траву. Затем выплыли высоко открытые ноги фрау Гитлер в чулках нежно-апельсинового цвета. Бок о бок вождь и его подруга покоились неподалеку от входа в бункер. Поднялся и вышел, в генеральском мундире, слегка располневший личный секретарь Борман, приблизился, натянул покрывало на торчащие из носа усы фюрера и детский лобик Евы. Адьютант Гюнше тряс бензиновыми канистрами, Линге держал наготове толстый бумажный рулон, это были документы государственной важности. Он поднёс зажигалку, швырнул бумажный факел, пламя взвилось над трупами и тотчас погасло. Адьютант выхватил ручную гранату, Линге остановил его; подтащили ещё одну канистру; несколько мгновений, как зачарованные, смотрели на столб огня.

Сумерки спустились.

В нескольких кварталах от сада, там, где красноармейцам удалось пробиться настолько, что теперь их отделяла от противника одна улица и площадь с неизвестным названием, в ночном затишье послышался шорох, хруст стекла. Взвилась и рассыпалась ракета, окатив мертвым сиянием груды кирпича и полуобвалившийся угол аптеки, из-за угла высунулось белое полотнище; вторая ракета взлетела, выкарабкался человек с серебристым орлом на тулье форменной фуражки. Он шёл по пустынной площади, высоко держа над собой на коротком древке белый флаг, достиг тротуара и вошёл в ворота. Во дворе его окружили бойцы; из того,

что он сказал, поняли только, что он имеет пакет для передачи русскому командованию; и парламентёра повели в штаб дивизии.

Штаб находился в Темпельгофе, на кольце Шуленбурга, в старом особняке, вокруг громоздились развалины, могучие деревья, помнившие Старого Фрица¹⁵, обгорели или до половины были снесены снарядами, но дом в югенд-стиле уцелел. Посланец, в чине подполковника, сидел в комнатке с занавешенным окном на втором этаже под охраной усатого старшины, а в зале с резным потолком, с картинами в простенках высоких окон, за большим столом на львиных ногах, командир дивизии связывался по телефону с командиром корпуса. Был первый час ночи.

Бумага, которую комдив извлек из пакета, на двух языках, была скреплена печатью и подписью человека, чьё имя должно было произвести впечатление. Комдиву, однако, оно ничего не говорило. На машинке было отпечатано следующее: *Подполковник такой-то настоящим уполномочен Верховным командованием сухопутных сил вести переговоры с представителями русского командования с целью установления места и времени встречи начальника Генерального штаба сухопутных сил генерала инфантерии Ганса Кребса для передачи русскому командованию особо важного сообщения.*

И ещё что-то там.

Подписал: Секретарь Вождя М а р т и н Б о р м а н.

Угу, пробормотал комдив. Какой такой секретарь? А, чёрт с ним.

«Давай сюда этого...»

Парламентёра ввели в зал. По какому вопросу всё-таки, отнёсся комдив к подполковнику. Ответа не было. По какому вопросу ваш генерал собирается вести переговоры, повторил он и снова снял трубку, чтобы связаться с командармом. Мы готовы встретиться, отвечала трубка.

Прошло ещё сколько-то времени, в три часа ночи на участке, где вечером появился парламентёр, смолкли пулемётные очереди, повисла в воздухе осветительная ракета. В укрытиях с обеих сторон следили, как из-за угла бывшей аптеки выбрался и не спеша пересёк линию фронта обещанный генерал. За ним шагали два офицера и рядовой с винтовкой через плечо, на штыке трепыхался белый флажок.

Делегация была препровождена в штаб дивизии, Кребс очутился в занавешенной прихожей, где до него сидел парламентёр; снял шинель и фуражку, повесил на вешалку, с кожаной папкой у бедра поскрипывал узкими сапогами из угла в угол. Кребс был худощав, строен, перетянут широким поясным ремнём с маленьким пистолетом в кобуре. И отец, и дед его были военными. В начале тридцатых годов Кребс был помощником военного атташе в Москве. В зале, стоя за столом, генерала ожидал командующий 4-й армией генерал-полковник Чуйков. Справа и слева сидели другие. Чуйков был сыном крестьянина-туляка и сам походил на умного и недоверчивого крестьянина. Лицо Чуйкова изображало недобрую торжественность. Минуло полтора года, как он сидел со своим штабом в землянке на правом берегу Волги, в почти не существующем Сталинграде, на крошечном участке земли, который удерживали остатки 62-й армии, а наверху, на площади Героев, в подвале универсама сидел со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс.

Войдя, немец остановился и коротко кивнул. Чуйков оглядел его из-под косматых бровей, молча указал пальцем на стул. Он попытался заговорить по-английски, но плохо знал язык, и немец его не понял. Зато оказалось, что Кребс говорит по-русски. Произошло некоторое замешательство, после чего каждый перешёл на родной язык; переводчик, выпускник военно-разведывательного института иностранных языков, торопливо переводил.

¹⁵ Фридриха Великого.

Кребс сказал: «Господин маршал!»

Он думал, что имеет дело с самим главнокомандующим.

«Здесь, – продолжал он, расстёгивая молнию на папке, – изложены мои полномочия».

Дожидаюсь, пока бумага будет прочитана и переведена, он держал наготове второй документ, вероятно, тоже имевший историческое значение, но приводить его было бы излишне, достаточно сказать, что по прочтении разговор с немцем был прекращен; тут же, не отпуская генерала, Чуйков вёл переговоры с резиденцией главнокомандующего в Штраусберге, оттуда телефонный сигнал достиг кунцевской крепости под Москвой, и диктатор повторил в трубку то, что давно уже было решено и подписано. Сопровождающие дожидались генерала, и Кребс воротился не солоно хлебавши в бункер. Начинался рассвет.

Гигантским клином наступление нацелилось на излучину Шпрее, почему-то русские придавали особое значение руине рейхстага. Внимание было отвлечено от бункера. Это давало шанс выбраться.

XIV Принудительная память. Исход

30 апреля 1945

1

Нечего и говорить о том, что ничего этого ты не видел, жил себе за шестьсот километров от Берлина в тридевятом царстве, в Козловском переулке, с мамой, которая к тому времени тоже вернулась, с Анной Яковлевной, которая никуда не уезжала; добил, дотерпел с грехом пополам школу и, должно быть, имел самое фантастическое представление о том, что творилось в мире. Ты и не помышлял о том, что тебя ждёт. Или всё-таки догадывался?

Спрашивается, можешь ли ты, имеешь ли право описывать войну, не быв на войне. Но сможет ли рассказать о войне – об *этой* войне – тот, кто на ней побывал? Захочет ли он вновь увидеть *эту* действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света, так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в этом естественный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме произвольной памяти Пруста, единственно достойной художника, кроме произвольной памяти, как бы ни оценивать ее права, – есть память принудительная. Писателю предстояло увериться в том, что от такой памяти ускользнуть невозможно. От неё нет спасения.

Какой это был восторг, какое счастье увидеть в кино марширующие войска, офицеров с шашками наголо и маршала, гарцующего на белом коне! Что здесь было на самом деле, что предписал диктатор и создал торопливый гений режиссёра и оператора – не всё ли равно. Грохочут трубы и барабаны, блестит от летнего дождя мостовая, солдаты победы швыряют к подножью Кремля трофейные вражеские знамёна. Но вдруг пустеет площадь, столько повидавшая за полтысячи лет. – Но такого она ещё не видела. – Продолжается парад. – Отдыхает оркестр. – В тишине, со стороны Исторического музея, обогнув угловую Арсенальную башню, вышагивает колонна солдат, чётко, по-военному выбрасывает вперёд костыли. На одной ноге топ, топ – единым махом – шире шаг! Ведомые собакой-поводырём, плетутся, подняв к небесам пустые глазницы, шеренги слепых. Маршируют сгоревшие в танках, с красным месивом вместо лиц. Визжат колёсики, катятся на самодельных тележках, соблюдая ранжир, безногие. Едут в корытах «самовары», обречённые жить после ампутации обеих ног и обеих рук.

2

Едва лишь трупы фюрера и подруги успели обуглиться, первая группа беглецов двинулась из бункера по направлению к Герман-Геринг-штрассе; за ней, с небольшими перерывами, шли другие. Вёл Гюнше. Со стороны Потсдамской площади поднимались густые темные клубы дыма. Ворвался рокот моторов, появились низко летящие русские самолеты. Все бросились в подъезд. Здесь уже теснились люди – раненые солдаты в касках, женщины с детьми. Короткими перебежками удалось добраться до заваленного обломками входа в метро Кайзергоф. Шли по шпалам, светя карманными фонариками, натываясь на мёртвых и раненых, свернули в другой туннель под Шпрее. Где-то близко должна была находиться станция Штеттинский вокзал, там можно выйти на Фридрихштрассе, по другую сторону фронта, за спиной у всё ещё не сдающихся отрядов. Оттуда пробиваться к американцам. Главное – не попасть в лапы к русским. Но никакого просвета, ничего похожего на приближение к станции – пути разветвились, кучки людей разбрелись в разные стороны. Это было начало блужданий. Кое-где под ногами хлюпала вода, спотыкались, цеплялись за кабельную проводку, брели вдоль отсыревших стен, ничего не видя, кроме тускло поблескивающих, теряющихся за поворотами, уходящих во тьму рельс, сталкивались и снова теряли из виду друг друга.

Что-то почудилось впереди. Выступило из мрака выпуклое лобовое стекло, мертвые чаши фар. Локфюрер¹⁶ спал, опустив голову в форменном картузе. Нет, это был сам фюрер. Вождь и спаситель вёл свой локомотив вперёд, к окончательной победе. Поезд мертвецов остановился навсегда. Они были видны там, за разбитыми стеклами. Для них не существовало поражения.

Кряхтя, цепляясь за что попало, пробирались вдоль вагонов, мимо сомкнутых дверей. Наконец, появился полуразрушенный перрон. Сверху сочился свет. Эскалатор завален щебнем. Вылезли кое-как. Вечерело. Невозможно было узнать улицу. Свист и гром доносились издалека, словно война пронеслась мимо. Вошли в подъезд и опустились, упали на ступеньки.

Их теперь было только двое: коренастый, приземистый, с каменным четырехугольным лицом, в фуражке с черепом и сером от пыли мундире генерала СС, и другой, на протезе, полуживой, с чёрной повязкой на глазу.

Им казалось, что в доме не осталось живой души. Бывший секретарь фюрера взшёл на бельэтаж. Звонок неожиданно отозвался в недрах квартиры: здесь функционировало электричество. Генерал нажимал на кнопку снова и снова, повернулся с намерением спуститься в подвал, в эту минуту дверь приоткрылась, выглянула женщина. Она не могла знать, как выглядит Мартин Борман, но, увидев фуражку, застыла от страха. Держа под руку товарища, Борман поднялся с ним в квартиру. Хозяйка или, скорее, экономка – это была квартира сбежавшего адвоката – плелась впереди. Оказалось, что они находятся на Шоссейной, в самом деле недалеко от Штеттинского вокзала, хватит ли сил добраться? Где русские? Где идут бои? Старуха не могла ответить.

3

К полудню передовые подразделения выдвинулись на Фосс-штрассе. Имперскую канцелярию оборонял отряд СС, слишком немногочисленный для обширного здания. В залах и коридорах рвались гранаты, сопротивление было подавлено за полчаса. Из пролома в стене выставился в сторону сада ствол «сорокапятки», прямой наводкой – по башенке бункера. Ответного выстрела не последовало. Когда с автоматами наперевес спустились в предбункер, пробрались, дивясь и остерегаясь, по длинному коридору, сошли по винтовой лестнице ещё ниже и

¹ Машинист (нем. Lokführer)

рванули бронированную дверь бывшей комнаты службы безопасности, то увидели картонный стол, заставленный бутылками, залитый вином. За столом сидели двое. Кребс упал лицом на стол. Шеф-адъютант фюрера Бургдорф повесил голову, устался в пол стеклянными глазами.

Война была окончена и всё ещё продолжалась. Всё еще маячил за развалинами огромный тяжеловесный дворец с изрытыми огнем минометов колоннами портала, с каменными фигурами на крыльях, по-прежнему полоскалась свастика на кровавом полотнище над фронтоном, в лучах прожекторов. Две ночных атаки захлебнулись под огнем отчаянно оборонявшегося батальона СС и отряда юнцов с ручными миномётами, но вот, наконец, разлетелся от взрыва правый боковой вход. Красноармейцы уже бежали по коридорам. Русский танк приблизился к пролому, пушка медленно поворачивалась, словно выноживала последних защитников Рейхстага. Минуту спустя танк горел внутри, подожженный фауст-патроном подростка, слышались крики, наконец, откинулась крышка люка, люди выкарабкивались из пекла, скатывались на землю, последним выпрыгнул из люка командир. Он был прошит тремя автоматными очередями – за час до капитуляции.

Война была окончена и, однако, продолжалась. Мертвец в расколотом шлеме, с пустыми глазницами, национал-социалистическая Германия, шатаясь, ещё размахивал зазубренным мечом. Но уже круглощёкая, ясноглазая, крутобёдрая деваха, Ника XX века в берете с красной звездой, в туго перетянутой гимнастёрке, с карабином за спиной, в форменной юбке до коленок и солдатских сапогах, машет флажками, правит движением на скрещении Унтер ден Линден и улицы кайзера Вильгельма, посреди погибшего города, в виду Бранденбургских ворот.

XV И выйдет обольщать народы

1 мая 1945

Полковник Вернике поправил на лбу чёрную повязку, протёр здоровый глаз, различил в темноте тиснёные корешки книг за стёклами, он лежал на диване в библиотеке. Кто-то зашевелился в углу перед задёрнутыми шторами. «Вы?» – спросил Вернике. Вспыхнула настольная лампа. Секретарь фюрера в расстёгнутом мундире, с серо-каменным лицом, сидел в кресле, прикрыв пледом ноги в тесных, некогда глянцевах сапогах. Фуражка с кокардой в виде черепа лежала на столе.

«Вам удалось поспать, рейхсляйтер?»

«Не знаю, – сказал Борман. – Возможно».

«Будем двигаться дальше?»

Борман медленно покачал головой.

«Лишено смысла».

«Но ведь мы, я полагаю, уже по ту сторону фронта».

«Фронта, – усмехнулся Борман. – Какого фронта?»

Он перевёл взгляд на отстёгнутый протез, стоявший возле дивана. Полковник Вернике лежал, смежив свой зрячий глаз. Секретарь фюрера привстал, заглянул за край оконного занавеса. Там была серая тьма, город исчез. Ни грома орудий, ни автоматных очередей, ни голосов. Борман упал в кресло.

«Странная тишина. Может быть, заключено перемирие?» – заметил, по-прежнему не поднимая век, Вернике.

Помолчали.

«Могли ли вы себе когда-нибудь представить, рейхсляйтер, – заговорил Вернике, – что всё так кончится? Я, по крайней мере, этого не ожидал».

Мартин Борман скосил глаза, ничего не ответил.

«Даже когда большевистские армии подошли к столице, я всё ещё не верил, что конец так близок».

«Ты считаешь, что это конец?» – спросил Борман, неожиданно перейдя на «ты».

«Сомневаться невозможно. Конец – трагический и полный величия. Таково величие судьбы».

«Н-да, – отозвался Борман, – величие. Какое уж там величие».

Снова тишина.

«Я не люблю риторики. Вам угодно, – снова на «вы» – выразаться поэтически».

«Какая уж там поэзия», – возразил Вернике в тон секретарю.

«Позволю себе, однако, не согласиться», – заметил Борман.

«С чем?»

«Для нас с тобой, может быть, и конец. Назовём вещи своими именами. Фюрер бросил отечество на произвол судьбы. Не пал в сражении, как обещал, а дезертировал из жизни. Помнится, он говорил, и я этому свидетель, что немецкий народ окажется не достоин своего фюрера, если мы проиграем. Уместно задать вопрос, оказался ли фюрер достоин своего народа. Ты молчишь?»

«Я слушаю, рейхслайтер».

«Но так или иначе, война давно уже была проиграна. Это было ясно по крайней мере с тех пор, как мы оказались перед фактом наличия в Европе трёх фронтов... Разумеется, русские и американцы рассорятся, как только начнут делить добычу».

Он сбросил плед, подвигал носками сапог, потянулся всем телом. Встал и подошёл к дивану. Борман был лысоват, без шеи, с выпирающим животом. Ведь ему еще нет пятидесяти, подумал Вернике.

«Они уже ссорятся», – заметил он.

«Возможно. Не о том речь. Ты говоришь, судьба. Да, это так, наша судьба – исчезнуть. Рейх погибнет в огне. Собственно, уже погиб. В лучшем случае Германия превратится в скопище мелких захолустных полугосударств. В то, чем она была когда-то».

Он прохаживался по комнате, посвистывал. Остановился и вдруг спросил:

«Ты любишь Малера?»

«Малера?»

«Да. Густава Малера».

«Богемский еврей, – сказал Вернике. – И вдобавок давно забыт».

«Подделом ему. Пятая симфония, первая часть... собственно, там две первых части. Там всё предсказано. Всё, что с нами произошло... Может быть, так было нужно. Германия должна была принести себя в жертву. Может быть, жидовско-христианская идея искупления обернулась на самом деле нашей идеей. Эта идея бессмертна, вот в чём дело, полковник. Национал-социализм – это феникс, сегодня он стал кучей золы. А завтра...»

Борман сделал несколько шагов и снова остановился, глядя в угол, где пряталось будущее.

«Придёт день, – сказал он, – наша идея покорит весь мир».

Приоткрыв занавес, он уставился в пустоту.

«Могут вам открыть один секрет, рейхслайтер, – проговорил Вернике после некоторого молчания. – Я знал о Двадцатом июля».

«О заговоре? – усмехнулся чёрный мундир. – Вот как. Впрочем, и я о нём знал».

«Вы? Знали заранее?»

Борман небрежно кивнул.

«И... ничего не предприняли?»

Секретарь вождя навис над ложем, вперился мёртвым взглядом в лежащего. Редкие, гладко зачесанные волосы, лицо без лица. Упырь, подумал Вернике.

«Не время обсуждать», – отрезал Борман, отвернулся и, заложив руки за спину, зашагал снова.

Но остановился.

«Заговор был обречён. Штауфенберг был, безусловно, отважным человеком. Человеком идеи, надо отдать ему должное. Но заговор был обречён».

«Даже если бы...?»

«Да, — жёстко сказал Борман. — Даже если бы фюрер погиб. Заговор был обречён, потому что его возглавили слабые люди, интеллигенты, христиане. Этими людьми руководили моральные соображения. Мораль мертва, полковник! Надо, чтобы во главе заговора стоял простой народный генерал, не скованный предрассудками, солдафон с низким лбом. Любимец армии. Может быть, Роммель...»

«И тогда?» — осторожно спросил Вернике.

«Что тогда?»

«Родина была бы спасена?»

Человек в чёрном усмехнулся. «Лежи», — сказал он презрительно, потушил лампу и раздвинул шторы. Наступило утро.

«Лежи, нам некуда торопиться. Ни у тебя, ни у меня нет больше шансов. Ни у кого из нас не осталось шансов... Но история на нашей стороне. Я не люблю риторики. Но иначе не скажешь. Германия принесла себя в жертву, да, возшла на костёр — во имя обновления мира. Никто из нашего поколения до этого не доживёт, но то, что великий проект национал-социализма победит, не подлежит ни малейшему сомнению. Мир идёт к этому. К несчастью, мы не успели окончательно истребить еврейство. Оно окопалось в Америке. Но с Европой, и с Азией впридачу, янки не смогут бороться. Цивилизация зашла в тупик. В этот тупик её загнала коррупция, власть золота, тот самый дракон Фафнер».

«Но Зигфрид убит», — возразил Вернике.

Борман усмехнулся.

«Вагнер больше не актуален. — Он подошёл к лежащему. — Ты когда-нибудь удосужился прочесть Коммунистический манифест?»

Полковник вопросительно воззрился на секретаря.

«Да, тот самый Коммунистический манифест, написанный немцем Энгельсом под диктовку еврея Маркса. Не удосужился. Напрасно! Много потерял. И Ленина ты, конечно, никогда не раскрывал, тоже напрасно. Нашёл бы у него несколько полезных мыслей».

«Например?»

«Эти люди, надо признать, не были лишены прозорливости. Уж они-то прекрасно понимали, что цивилизация денег, мир безудержной погони за наживой, гибельного либерализма, политической анархии, весь этот Вавилон — рухнет рано или поздно. Но что они предлагали? Марксистский проект пролетарской революции выглядит комической утопией. От него разит чесноком. Он насквозь пропитан ветхозаветной идеей царства Божьего на земле. Под которым, конечно же, подразумевается власть Иеговы. Что такое на самом деле диктатура пролетариата?» — говорил, устремив глаза в пространство, взад-вперёд поскрипывая сапогами, Борман.

«Вы хотите сказать, рейхсляйтер, что... Я тоже так думал...»

«Я больше не рейхсляйтер. Нет больше рейха. И меня не интересует, что вы думали».

Сумасшедший, подумал Вернике. То «ты», то «вы». Или пьян?

Тут он заметил, что под столом стоит плоская фляга из-под коньяка, пустая. Вернике привстал, потянулся за протезом.

«Стоп. Лежать! Я ещё не договорил».

«Нам пора, рейхсляйтер...»

Борман метался по комнате.

«Идея абсолютной власти, воплощённая в личности вождя, — вот чего им не хватало. Дисциплина, самоотверженность и восторг. Ледяной восторг, полковник!»

Вот что понял Ленин и... в какой-то мере, конечно, но осуществил Сталин. Мы недооценили этого кавказца. Вероятно, он добился бы многого, преуспел бы в мировом масштабе, если бы родился в другой стране. Он считал, что миром будет править славянство, роковая ошибка. Эта победа их погубит. Они потеряли так много людей, что даже для России это обернется катастрофой. Не такой, как наша, более медленной. Но надолго их не хватит. Мы не зря боролись с коммунизмом. Это был больше чем враг, это был конкурент. Сегодня он победитель. А на самом деле мы его сокрушили. Это было смертельное объятие...»

«А всё-таки, — пробормотал невпопад Вернике, — всё-таки... где мы?»

Борман остановился, тупо взглянул на него.

«Ты думаешь, на том свете? — сказал он. — Берлин — это и есть тот свет».

«Где мы, — повторил Вернике, — у наших? у русских?»

XVI И возрыдают пред ним все племена земные

3 мая 1945

Плакаты на рекламной тумбе, на стенах домов с выбоинами от осколков.

WEHR DICH ODER STIRB

NUR DAS VOLK IST VERLOREN, DAS SICH SELBST AUFGIBT¹⁷

Русский правитель, без лба, с длинным нависшим носом, бровищами и усищами, с ножом в зубах:

DIESE BESTIE MUSS VERNICHTET WERDEN¹⁸

Где я? — бормотал, не замечая, что говорит сам с собой, человек с повязкой на вытекшем глазу, с непокрытой головой, в изодранном мундире с грязным подворотничком и чёрно-серебряным прусским крестом между углами воротника. Где русские? Смолкла канонада. Выглянуть из душного подземелья. Идёт дождь. Запах сирени плывёт из-за решётки сада.

Он увидел очередь перед мясной лавкой. Удивительно, что ещё что-то осталось, что не разнесли лавку. Стать в хвост. Но зачем? Дождь всё сильнее. Кто-то уверенно говорит о близком спасении. Вы что, не слышали? Венк со своей армией идёт на выручку.

А, пусть думают что хотят.

Барышня читает вслух экстренное сообщение, замызганный листок. Фюрер, до последнего дыхания сражаясь во главе армии, пал на поле боя.

Фюрер... до последнего дыхания... Личный шофёр с камердинером выволокли обоих, Гюнше облил бензином. Столб огня. Пал, сражаясь, на поле боя. Пусть, пусть думают что хотят. Но любопытно: потрясающая новость — и никакой реакции в очереди.

Говорят, они уже в Цоссене. Кто? Этого не может быть. Откуда это известно? Всякий, кто распространяет провокационные слухи, подлежит расстрелу на месте. Ах, оставьте вы все это. Сейчас самое главное не попасть в лапы к азиатам.

Кто-то нацарапал мелом во всю стену: Si fractus illabatur orbis, impavide ferient ruinae¹⁹.

Нам только латыни и не хватало. Скоро появятся русские надписи.

¹⁷ Защищайся или умри.

Лишь тот народ погиб, кто сдаётся (нем.)

¹⁸ Этого зверюгу надо уничтожить (нем.)

¹⁹ Если, расколовшись, обрушатся небеса, неустрашимо вознесутся руины. (Гораций).

Вы бы лучше, господин полковник, сменили вот это... Что сменить? Показывает на мундир и Ritterkreuz²⁰: мало ли что... на всякий случай.

На искусственной ноге вверх по лестнице, вдова аптекаря предложила у неё переночевать.

Нестарая женщина, пожалуй, меньше сорока, стройные ноги. С верхней площадки смотрит на карабкающегося офицера.

Ветер треплет шторы из плотной бумаги, затемнение – кому оно теперь нужно? Просторная квартира. Отсидеться, отлежаться. Он представил себе широкую супружескую кровать. Прошу вас, г-н полковник. И... и тут опять вой сирен, срочно вниз. Неважно куда, в подвал, так в подвал. На лиловом небе самолёты, совсем низко, как шмели. Со стороны Рангсдорфа равномерные залпы флаков²¹. Значит, на юге всё ещё держатся.

Тяжёлая герметическая дверь, бомбоубежище какого-то учреждения, чиновники, разумеется, сбежали. Потолок подпёрт свежеекорёнными бревнами. Люди сидят, согнувшись, вдоль стен. Рты и носы обвязаны платками. Якобы предохраняет от разрыва лёгких взрывной волной.

Если, расколовшись, обрушатся небеса.

Господин офицер, вам бы лучше... Кивает на мундир и орден. Сами понимаете. Русские уже в...

Всякий, кто распространяет провокационные...

Рёв, свист – все ближе. Грохот разрыва сотрясает потолок и стены подвала. Большевистский бог войны. Еврейский бог мести. Если вспомнить, что мы там, у них, натворили, что ж. Неудивительно.

Майский день померк. Парк изрыт воронками, в кустах кучка женщин. Похороны девушки-санитарки. Остановившись, он тупо смотрел, как заворачивают в какую-то скатерть несчастное безногое тело и опускают в яму.

Теперь куда?

Опять эта женщина. От дома ничего не осталось. Осталась одна жена аптекаря.

В погребке или где там. В жилище лемунов. Стропила намазаны фосфором, чтобы не расшибить лоб. Глаза привыкают к темноте. Последняя новость: «ами» и «томми» рассорились с русскими и перешли на нашу сторону. Пожалуйста, не наступайте на ноги. Куда ещё – здесь и так повернуться негде. Господин офицер, вам бы всё-таки... Нет, вы только подумайте: удалось дозвониться по телефону. Сестра говорит: «Wir sind schon Russen»²².

Этого не может быть. Связь прервана. А я говорю вам... Вы уверены, что это она? Гд она живёт, ваша сестра? В Веддинге. Тогда всё понятно. Вражеская пропаганда, Веддинг всегда был коммунистическим районом. Вот так и распространяются провокационные слухи.

А что, они ведь тоже люди. Подруга рассказывала: подъезжает танк, оттуда вылезает Иван, лицо в копоти, рот до ушей, женщины бегут навстречу.

Ложь. Они всех женщин. Старух, маленьких девочек, всех подряд. Хоть кричи, хоть не кричи. Сперва это самое, потом стреляют. Вот так – в упор: встанут, подтянут штаны, и – в лоб, в грудь, в живот, всех подряд. Вы это ещё увидите.

Да что там говорить. На нее посмотрите. Беженка из Восточной Пруссии. Что-то ещё бормочет на диалекте. Явно не в своём уме.

Всё-таки, знаете: у них ведь тоже есть и матери, и сёстры.

Чуть было не сказал – я сам был на Восточном фронте. Уже, можно сказать, в самой Москве. Проклятое, обманчивое «чуть-чуть».

²⁰ Рыцарский крест (нем.)

²¹ Зенитные орудия

²² Мы уже русские (нем.)

Они всех без разбору. Лишь бы было что между ногами. А я вам говорю, я точно знаю, переговоры уже начались. Ами и томми не допустят, чтобы Берлин стал русским. Еще немного потерпеть... Венк на подходе. Что Венк? Где Венк? Нам всем крышка. Они всех... Мужчин сходу, а женщин потом.

Чего ж вы хотите. Женщины всегда были добычей победителя.

И маленькие девочки, и старухи – да? Вы это хотите сказать?

А что мы у них там творили, тебе это известно? Мне племянник рассказывал. Не хочу слушать, *schert euch alle zum Teufel*²³.

Подъехали к одной деревне, а там будто бы ночевали партизаны.

Ну, партизаны, это совсем другое дело, это же звери.

Наши тоже хороши...

Кто подъехал-то?

Да не слушайте вы его. Разве вы не видите, что это за фрукт.

*Sonderkommando*²⁴, вот кто. И видят: навстречу идёт священник. В чёрной рясе, седая борода, и держит перед собой золотой крест. Это он вышел просить, чтобы пощадили деревню. А его попросту скосили автоматной очередью. Потом сожгли всю деревню из огнёмётов, детей, старух – всех.

Да не слушайте вы его. Немецкий солдат детей не убивает. Это чёрная рать. Слушай, ты, если ты не замолчишь... И вы тоже, не знаю, в каком вы чине. Или вы стащите с себя к чёртовой матери этот мундир, или...

Или что?

Или катитесь отсюда. Сейчас Иван придет. Нас всех расстреляют вместе с вами.

«Прежде я тебя пристрелю», – холодно говорит Вернике и вынимает пистолет.

Свист, грохот, рушится потолок. Ничего, мы ещё живы. Лицо в потёках крови, но, кажется, цел. В горле сухо от известковой пыли. Звуки доносятся как сквозь вату, по-видимому, оглох. А кстати, какое сегодня число? Довольно *валяться*. Вдруг наступило лето. Осколки жаркого солнца хрустят под сапогами. Вперёд – во что бы то ни стало. За углом полуразрушенного дома – табличка с названием улицы, этого не может быть, вот так сюрприз, мы в двух шагах от Шпрее, ну-ка живей, перебраться через мост Кронпринца, если мост цел. Улица перегорожена баррикадой, ребячьи голоса, патруль подростков. Вскакивают и отдают приветствие. Командир, старик с фельдфебельскими погонами, вышел навстречу. Здесь бои начались три дня назад. Здесь было 5000 мальчишек. Осталось 50. Затем все как-то странно меняется.

Русский танк «ИС» впереди, в просвете улицы. Пушка опущена низко к мостовой, кумулятивная граната прожгла броню. Экипаж погиб. Нет, они здесь. Или другие; какая разница? Высунулись круглые шлемы, автоматчики поднимаются из-за руин. Один забросил оружие за плечо, вытянул из травянистых галифе портсигар, сворачивает самокрутку. Наконец-то. Словно к дорогим долгожданным друзьям, выходит навстречу, припадая на ногу, оборванный, в серой щетине человек с почернелым лицом, и как будто видит себя со стороны: всё как в замедленной съёмке. Беззвучно опускаются брызги земли, оседает пыль и извёстка, полковник Вернике медленно поднёс руку к лицу, стащил грязную повязку с мёртвого глаза на виду у вскинувших было и тотчас опустивших свое оружие солдат, стоит посреди улицы, – вместо левой ноги протез, вместо меча восьмизарядный вальтер Р-38, – и не спеша приставляет дуло к виску.

Продолжение следует

²³ Катитесь вы все к черту (*нем.*)

²⁴ Спецподразделение СС (*нем.*)

АЛЕКСАНДР МИЛЬШТЕЙН – БОРИС ХАЗАНОВ: ЧАС У КОРОЛЯ

(Беседа Александра Мильштейна с Борисом Хазановым, опубликованная в февральском номере Санкт-Петербургского еженедельника «Дело» за 2007 год)

Недавно один русский писатель пришел в гости к другому русскому писателю. Дело было в городе Мюнхене. Хозяин выставил бутылку грузинского вина, гость включил диктофон. И они поговорили. О том о сем, о разных вещах. Ничего такого особенного.

Однако же опубликовать запись этого разговора посчитал бы за честь для себя любой печатный орган в Европе.

Потому что один из собеседников был Борис Хазанов – живой, слава Богу, классик, автор бессмертной повести «Час короля». Книги, которая, как я полагаю, только по недоразумению не вошла до сих пор в обязательную школьную программу. Мало на свете литературных произведений, которые с такой отчетливостью исследуют, как участвует в поведении человека странное чувство, большинству знакомое лишь понаслышке: чувство личного достоинства.

Не каждому дано написать такую вещь. Невозмутимая, невеселая мудрость, слышная в каждом слове, оплачена опытом фантазмагорическим... Но Борис Хазанов о себе говорит неохотно, мемуарных интервью не раздает. Однако же и на ветер слов не роняет, – так что спасибо Александру Мильштейну и его диктофону.

Самуил Лурье

Случилось так, что я впервые попал в гости к Борису Хазанову, предварительно зная только то, что это – какой-то писатель. Что-то где-то слышал и, кажется, интервью видел в «Литературной газете». Ни одной книги этого писателя я до того момента не читал, чего и не скрывал от гостеприимного хозяина, и не замечал при этом, чтобы его как-то огорчало это обстоятельство.

Дом, хозяин и его жена, атмосфера, которая там царила, – все это было настолько притягательным, что я, унося с собой маленькую книгу в черном глянцево переплете, немного волновался. Есть писатели, которые больше своих книг. Что, если это как раз такой случай?

Какова же была моя радость, когда, прочитав несколько страниц, я понял, что, если меня еще раз пригласят в этот дом, мне не придется, отдавая книгу, отводить глаза, лукавить, говорить какие-то общие фразы, предназначенные опять же для отвода глаз... Я понял, что открыл для себя не просто настоящего писателя, но очень большого писателя. Пожалуй, такое ощущение было у меня до тех пор только однажды – когда я впервые прочел Набокова.

Александр Мильштейн

Александр Мильштейн Геннадий Моисеевич, когда вы поставили на стол бутылку грузинского вина с портретом Уса, как вы его называете, я почувствовал, что мы с вами вступаем в область прозаической, – у меня на этот счёт определённая интуиция.

То есть иногда я чувствую, что вот об этом буду писать, имея в виду, конечно, прозу; опыт журналиста у меня, как вы знаете, отсутствует. Когда мне предложили записать для газеты какую-нибудь из наших с вами бесед, первой моей реакцией было сомнение: я подумал, что согласившись, уподоблюсь персонажу из анекдота. На вопрос, умеет ли он играть на рояле, он отвечает: не знаю, не пробовал. Но в данном случае пианистом будете вы, а я, с вашего позволения, буду перелистывать ноты. На таких условиях я готов попробовать. Итак, если вы тоже согласны, первый вопрос. Что вы испытываете, когда здесь, в городе Мюнхене, пьёте купленное в местном русском магазине грузинское вино с Иосифом Сталиным на этикетке?

Борис Хазанов На мой вкус и нюх – неплохой букет. Но вас, конечно, интересует другое. Невозможно представить себе, чтобы здесь у нас какой-нибудь виноторговец выставил в витрине бутылки с физиономией Адольфа. Можно удивляться, что кому-то пришло в голову экспортировать вино с Усом. Кстати, так его называл не я один. Я помню, как в мартовские дни 1953 года я однажды оказался на станции нашей лагерной железной дороги, подошёл состав с уголовной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал: «Ус подох!»

Вообще же я был поражён, когда, выйдя на волю, узнал, что смерть вождя народов была встречена не всенародным ликованием, а рыданиями. Мне казалось это невероятным. Это было давно. Теперь я не удивляюсь.

Александр Мильштейн Вы имеете в виду направление умов в сегодняшней России. Вероятно, любому, кто знаком с вашей биографией, хочется спросить, что вы вообще думаете о современной России? От себя я добавил бы, что было бы интересно услышать от вас, чего, по вашему мнению, сейчас больше в России: Европы или Азии? Скажу вам о двух-трёх своих ассоциациях, возможно, породивших этот вопрос. Лет восемь тому назад – Герхард Шрёдер только что впервые стал канцлером Германии – я летел в Москву и в самолёте читал «Sueddeutsche Zeitung». Мне запомнилась одна статья: автор пытался предсказывать, что принесёт стране и миру правление Шрёдера. В конце статьи журналист спрашивал: с чем новый канцлер войдёт – или хотя бы захочет войти – в историю? И отвечал: Шрёдер попытается стать канцлером, который привёл Россию в Европу. Что из этого вышло, нам известно. Прогноз журналиста выглядит сейчас несколько комично, напоминает историю с мужиком, который, оказавшись в медвежьих объятиях, кричал: «Я его поймал!» Но вот что будет с нашим отечеством, вряд ли кто-нибудь решится предрекать. Никто, мне кажется, не понимает сейчас, что происходит. Стала ли для вас Россия за последние пятнадцать лет частью Европы?

Борис Хазанов Россия всегда была частью Европы – даже во времена самой злокачественной изоляции. Кое-что, однако, зависит от того, откуда смотреть. Для живущих там – страна вестернизировалась очень заметно. Открылись границы, перестали быть чем-то необыкновенным технические новинки, нет больше очередей, не пахнет мочой в подъездах. Но при взгляде отсюда сближение скорее поверхностное. Новые богачи, которые во множестве наезжают к нам и которых легко узнать по вульгарным интонациям и плохому русскому языку, – это, конечно, мнимая Европа, а подлинные русские европейцы слишком бедны, чтобы позволить себе путешествовать.

Александр Мильштейн Я, наверное, неточно сформулировал вопрос, но не знаю, стоит ли к нему возвращаться. Или, может быть, вопрос был не по адресу? С одной стороны, взгляд извне иногда бывает пронизательней, вы сами, кажется, об этом проговорились. А с другой... Но я в самом деле не уверен, что вы хотите говорить именно о Европе и России. Переменим тему. Позвольте спросить: что вы сейчас читаете? Что пишете? Я знаю только название вашего нового романа – «Вчерашняя вечность». Мысль о том, что вечность тоже может состариться, насколько я помню, посещает персонажа главного героя романа Пелевина «Поколение П» в тот момент, когда он созерцает в витрине вышедшие из моды туфли. Мне кажется, – повторяю, я ещё не читал ваш роман, вы говорили, что он не совсем закончен, – мне кажется, что вы подчеркнули бы в этом словосочетании слово «вечность», тогда как Виктор Олегович выпятил бы слово «вчерашняя». Я не прав? Или мой вопрос опять не по адресу?

Борис Хазанов Нет, отчего же. Я читаю биографию Андре Жида и перечитываю «Дневник «Фальшивомонетчиков»», тоненькую книжечку, которую автор выпустил вдогонку своему роману. Это имеет отношение к моей собственной работе. Кроме того, просматриваю разную справочную литературу. Чем больше даёшь волю фантазии, тем строже должны быть выверены факты, не так ли?

Что касается писания, вы отчасти ответили сами. Это роман, который называется «Вчерашняя вечность». Я приторочил к нему несколько экзотический эпиграф – цитату из «Исповеди» Блаженного Августина, XI книга, глава 14, по-русски она звучит так: *Настоящее, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью.* Пелевин тут ни при чём. Применительно к моему произведению (оно, кстати, имеет подзаголовок: «Фрагменты XX века») я эту фразу толкую двояко. Воспоминания о прошлом, будь то история или твоя собственная жизнь, – это квази-вечность. Вчерашний день оказывается непреходящим, когда пытаешься в нём разобраться.

Александр Мильштейн У вас большой опыт непосредственного общения с читателями. Я имею в виду ваши литературные вечера, авторские чтения, которые сопровождали выход каждого вашего романа в Германии. Не могли бы вы немного рассказать об этом опыте и, быть может, сравнить своего немецкого читателя с французским? Недавно, в связи с выходом французского

перевода «Часа короля», вы выступали с чтениями, организованными издательством Viviane Namu в ряде городов Франции. Как вас там принимали? Подтвердили эти встречи, что «Час короля» — это то, что называется *zeitlos*. Написав это немецкое слово, задумался, как лучше его перевести, и... чуть было не перескочил к следующему вопросу, о другом вашем романе. Но не стоит всё смешивать, всему своё «антивремя»... А сейчас хотелось бы услышать, насколько универсален, по-вашему, этот самый «Час короля»? И не пора ли, наконец, в России по-настоящему познакомиться с этой книгой?

Борис Хазанов Выступление перед публикой обыкновенно льстит самолюбию писателя, но подчас разочаровывает публику. Авторские вечера и чтения приняты общением с читателями, но я думаю, что подлинный контакт, независимый от того, как воспринимаются ваши вещи, может быть только индивидуальным. Вообще же говоря, читатель, если слегка переиначить выражение покойного Иосифа Бродского, — это всегда гипотеза. Или, как сказал Тютчев, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Отзовется ли вообще?

Сравнить немецкую публику, к которой я всё-таки больше привык, с французской мне было бы трудно. Если я скажу, что французы ведут себя более непосредственно, чем сдержанные и несколько скованные немцы, это не будет новостью. Кроме того, Франция, и это тоже не новость, — более литературная страна, чем Германия, где скорее доминирует музыка. Выступления мои во Франции можно считать удачными. Я не решался, с моим скверным произношением, сам читать свою прозу. В книжном магазине одного южного городка моя повесть «Час короля» была исполнена даже «на голоса», двумя женщинами. С некоторым удивлением я узнал, что вечеру, посвящённому моей персоне, придавали политическое значение — как удару по влиятельной в этом городе правой партии.

«Час короля» был написан давно, ещё в Москве, и циркулировал в самиздате. Когда эта повесть была напечатана в Израиле (и найдена у меня при обыске), я был вызван для «беседы»: не я ли её автор. Я ответил, что я эту повесть — антифашистское произведение — читал, но написал её не я, а Борис Хазанов. На что человек, не назвавший себя, резонно возразил, что, во-первых, «нам» хорошо известно, кто такой Борис Хазанов, а во-вторых, ясно, какое государство имел в виду автор.

Вы спросили, насколько «универсально» это сочинение. Думаю, что ответить невозможно. Повесть интерпретировали по-разному, и это меня утешает. Произведение, не допускающее многих и разных толкований, обыкновенно бывает недолговечным. Что касается Вашего недоумения, не пора ли, дескать, сделать её известной у нас на родине, — после крушения советской власти «Час короля» был опубликован несколько раз и в разных изданиях.

Александр Мильштейн Значит, я был не в курсе. Я читал «Час короля» в книге, которую взял у вас лет восемь назад, вы говорили, что книга издана небольшим тиражом. Все эти годы я часто слышал сетования от знакомых, что достать эту книгу практически невозможно, а о том, что она переиздавалась, я не знал, простите мою неосведомлённость...

Борис Хазанов Все мои сочинения, если и выходят, то очень маленькими тиражами, так как представляются коммерчески неперспективными. Поэтому они сразу становятся раритетами.

Александр Мильштейн Так вот, об этой книге: «Час короля» там соседствовал с «дважды написанным» романом «Антивремя». Переиздавался ли этот роман, как и «Час короля», или это было единственное русское издание? Во время моей последней поездки в Харьков мои тамошние друзья, преподаватели гимназии, познакомили меня со своей любимой ученицей, по их словам, «гениальной читательницей». Девочке четырнадцать лет, она называет вас своим любимым русским писателем, а любимым произведением — роман «Антивремя». Которое она сравнивала с самой известной повестью Сэлинджера. Вам не кажется странным такое сравнение? Приходилось ли вам слышать или читать нечто подобное в статьях или в немецких книгах, посвящённых прозе Б. Х.?

Борис Хазанов «Антивремя» выпустил в Нью-Йорке (ещё раньше, в 1985 году) Виктор Пельман, в этом томе было тоже два произведения: кроме «Антивремени», ещё один небольшой роман «Я Воскресение и Жизнь».

Я, конечно, польщён тем, что четырнадцатилетняя читательница находит для себя интересными мои вещи. Мысль о том, что «Антивремя» может напомнить замечательную повесть Сэлинджера, мне не приходила в голову. Но у девочки, вероятно, были основания для сравнения.

А вот теперь, раз уж зашёл разговор об этих книжках, позвольте задать вам, Алик, встречный вопрос. Повесть «Час короля» написана слегка стилизованным языком, пародирующим слог учёного историка или хрониста. Язык других моих сочинений тоже кажется старомодным; меня упрекали в излишней литературности; старый товарищ называл меня, не без укоризны, пишущим по-русски западным писателем. Что вы скажете о языке современной русской литературы в метрополии? О языке ваших собственных сочинений? Должны ли мы ориентироваться на сегодняшнюю живую русскую речь? Не грозит ли нам участь писателя, сказавшего о себе, что его язык и стиль – замороженная клубника?

Александр Мильштейн По-моему – «земляника», что не суть важно, хотя... корень слова – «земля»... Впрочем, вспоминаю, что мы с вами об этом говорили и вы настаивали на том, что в оригинале именно «клубника», а у вас память лучше моей. Вот, если коротко и по порядку, то примерно вот так получится: некоторые виньетки во вступлениях к рассказам могут показаться старомодными, да... Но это дело вкуса, знаете, каждому не угодишь, некоторые обороты речи – ну, может быть... Но в основе своей – в функции Вашей речи, если хотите, в её аргументах, временная переменная *t* эксплицитно не присутствует. Простите за этот математический жаргон; проще говоря, я не думаю, что ваш язык выглядит устаревшим. Я думаю, что дело не в языке, а в каком-то строе мыслей, который кому-то кажется устаревшим, но мы знаем, что завтра тем же самым людям может показаться устаревшей вообще мысль как таковая, и будут они говорить толь-в-точь как один из персонажей того же Набокова: «Не думаю, значит существую». Это не такая смешная гипотеза в отношении к прозе, а если провести аналогию с музыкой – что вы любите делать – и взглянуть туда, куда вы не любите смотреть, – на ситуацию в современной музыке, видно будет, что там этот процесс уже дошёл до своего логического конца... Но я не хочу в это углубляться, чтобы не увести разговор в сторону. Совсем коротко: язык метрополии кажется мне разнообразным и всё ещё довольно-таки могучим. Язык моих собственных сочинений я не могу отрефлектировать, это – как собственный голос в магнитофонной записи, когда он кажется чужим. Скажу только, что у меня в этом смысле нет никаких табу – с одной стороны. С другой – я не пытаюсь быть новатором, меня вполне устраивает и язык XIX века, я не помню случая, когда бы я упирался в границы этого языка... Опять же – очень может быть, что это только мне так кажется. Ориентироваться на какую бы то ни было чужую речь мне кажется трудным, это такое интимное дело – речь, переход внутреннего бормотания на бумагу... Как здесь можно на что-то ориентироваться? Не каждый «пишет, как он дышит», есть писатели, которые искусно владеют самыми разными стилями, умеют петь чужими голосами, это действительно бывает здорово, увлекательно, но я чужой на этом празднике, независимо от того, где я в это момент нахожусь географически... Ключевыми в этом вопросе могут быть слова: «Моё безумие говорит по-русски». Слова, сказанные когда-то Борисом Хазановым, точнее, написанные – не напомните ли, где?

Борис Хазанов Была такая рукопись, нигде не напечатанная, род автобиографии под названием «Дебет-скрежет». Попытка подвести плачевный итог. Дело было давно, в России; фраза, написанная в отчаянии. А вот вы мне лучше скажите: есть ли в современной русской литературе, включая, разумеется, и ту её часть, которая существует в России, – есть ли писатель, чей язык вы могли бы назвать эталонным, по-настоящему современным, кому мы с вами могли бы позавидовать? Кто вообще Ваши любимые писатели среди ныне живущих, в том числе живущих в России?

Если вы почему-либо затрудняетесь ответить, поговорим о чём-нибудь другом: о Шиллере, о славе, о любви.

Александр Мильштейн Затрудняюсь в том смысле, что пишущим эталонным языком я не завидую. Завидую скорее тем, кто пишет таким языком, который эталонным никак не назовёшь. Может быть, вы в этом смысле исключение. Наш разговор задумывался изначально не как диалог, а как попытка услышать от Вас – «побывавшего там, где мы не бывали, повидавшего то, что мы не видали» – ответы на самые разные вопросы. А получилось, как в фильме Микеланжело Антониони «Профессия: репортёр». Шаман, у которого герой фильма берёт интервью, вдруг

поворачивает камеру на 180 градусов и говорит, что вопросы теперь будет задавать он. Вы, наверно, видели этот фильм?

Вернусь к вашему вопросу. Мне в современной литературе на самом деле нравится очень многое... В том числе писатели, чей язык вполне можно назвать эталонным, например, Михаил Шишкин – за исключением «Венериного волоса»: язык и здесь неплохой, но роман мне понравился меньше, чем «Взятие Измаила» или рассказы... Язык Андрея Левкина вряд ли можно назвать эталонным. Но и Левкин мне очень по душе – этот «сдвинутый» левкинский язык; не уверен, правда, что он так уж современен. Первая книга Олега Зайончковского, «Сергеев и городок», мне понравилась, вторая – «Петрович» – меньше, третью, недавно вышедшую, я ещё не читал. Пожалуй, хватит, список длинный, я назвал первое, что пришло в голову, есть и другие, не менее любимые. При том, что читаю я не так уж много, часто бросаю на половине, и не столько из-за лени, а просто пропадает интерес. Если же учесть, что большая часть прочитанных мною книг – немецкие и английские, то получится, что на ваш вопрос я и не очень-то способен ответить – слишком многого я просто не знаю. Остаётся добавить, что, читая ваши книги, я наслаждаюсь именно эталонным языком, который в то же время является «хазановским»: его ни с кем не спутаешь.

Теперь хочу сам спросить. По вашему совету я прочёл статью Натальи Ивановой в одиннадцатом номере «Знамени», где она говорит о фантастике. Вспомнил, что когда-то самым интересным журналом среди любителей фантастики считался журнал «Химия и жизнь», вы там долгое время работали, как раз в том отделе, где печаталась фантастика, правда? Так вот, если бы вам сейчас предложили составить, по примеру Борхеса, антологию фантастической литературы», вошли бы в неё авторы, которых вы печатали когда-то в «Химии и жизни»? Станислав Лем не в счёт, я уверен, что его бы Вы уж точно включили.

Борис Хазанов Вы, Алик, во-первых, нарушили правило: о присутствующих не говорят. А во-вторых, посрамили меня, я куда хуже знаком с сегодняшней русской литературой – отчасти оттого, что у нас с вами разные вкусы. Закон возраста: слишком многое становится скучным. Блезнью наших с вами собратьев по перу я бы назвал многословие. Писатели как будто забывают о том, что у современного читателя гораздо меньше времени для чтения, чем у писателя – для писания. Как бы то ни было, мне интересно слушать вас.

Вы упомянули статью Натальи Ивановой в «Знамени», некоторым образом программную, – она открывает журнал. Дельная, добросовестная статья, свидетельствующая о пристальном внимании к современной русской литературе. Говорится, уже не впервые, что ни о каком конце литературы не может быть речи. Литература вновь окрепла и заговорила полным голосом. При этом новая надежда этой литературы – фантастика. Речь идёт, если я правильно понял, не о научно-фантастической литературе, жанре, который ещё доживал свои дни в «Химии и жизни». Критик имеет в виду внедрение фантастики в реалистическую словесность. Приводится перечень писателей и книг с фантастическим сюжетом или, по крайней мере, с элементами фантастики. Книги разные и, как я догадываюсь, по большей части скучные. Но не в этом дело. Станным кажется это изобретение велосипеда. Вдобавок автору статьи как будто невдомёк, что речь идёт или должна идти о чём-то более основательном: о меняющейся концепции действительности в литературе. О том, что действительность, какой она предстаёт обыденному сознанию, отвергнута сознанием художника, которое создаёт свой, достаточно причудливый проект действительности, а значит, и о фантазии приходится говорить совершенно по-новому.

Не кажется ли вам, дорогой Алик, что мы здесь дышим как-то вольготнее?

Что же касается антологии фантастической литературы, я не стал бы её составлять.

Юрий КОЛКЕР

ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Кто, если не он?

Не то чтоб вокруг «немотствующая пустыня» была. Пишут многие. Иные неплохо пишут, хорошо, замечательно; но так, как он, – никто. Не то чтоб – повторимся интонационно – другие были по-

хожи. В культуре близнецов не бывает, родство не ценится (о чем нам велеречиво, но не совсем верно напоминает всеми забытый Евгений Замятин). А всё же я (не более чем я) с моей кочки (болотной и субъективной) вижу современный русский ландшафт таким: с одной стороны – прозаики (неплохие, хорошие, замечательные; прочие не в счет), а с другой – Борис Хазанов. Они – и он. Оппозиция. Два съезда, две партии. Он другой. Оттого и не понят.

«Один не услышит, другой не поймёт»

– так некогда Надсон сказал, а современный поэт повторил, хоть и в неведении, что повторяет. Очень верно сказано.

Когда в 1993 году вышла небольшая книжка под неудобным названием *Нагльфар в океане времен*, мне (с моей кочки) показалось, что мир ахнет. Время еще было подходящее; еще ждали и надеялись. Эмигрантов на руках носили, ковровую дорожку им стелили. Странно вспомнить, но было: на минуту там, в России, людям почудилось, что вот сейчас они, эмигранты, вернуться из своего потустороннего мира и будут править – не страной, так культурой. Почти как после 1956 года, когда из лагерей начали возвращаться (и Фадеев с испугу застрелился).

Но мир не ахнул. Заглянули, да не поняли, а затем всё разом изменилось, люди занялись делом. Обычная история. Мир велик, а жизнь коротка. Вот я и думаю: не заглянуть ли еще раз – теперь, когда мы опять на обочине? Может, всё-таки пойдем что-нибудь? Сейчас – самое время: Хазанову исполняется 80 лет.

Гендерные аллеи

«О чем бренчит?» О чем пишет настоящий писатель, тот, кто нашу душу исследует? Всегда об одном: о гендерных делах. Есть такое препротивное новорусское словечко. О взаимодействии прекрасного пола с менее прекрасным. Попутно там и многие другие вопросы возникают: о войне и мире (мире), о преступлении и наказании; о лагерях, если говорить о Хазанове, который сидел при Сталине. Иной раз эти вопросы и на авансцену выступают, но нас не проведешь: главное – в другом. Господь бог, которого нет, так устроил этот мир. Поработил нас, сделал рабами пола. Исходил из римского правила: разделяй и властвуй. Разделил человека на две половины. Раньше миром еще голод правил, а сейчас мы сыты (все или почти все; исключение – русская глубинка, с которой Москва обходится, как Спарта с илотами). По части любви – тоже; так сыты, как наши предки никогда не бывали. Любовь подешевела. Женщины теперь мужественны, мужчины – женственны. Неустанная работа в пользу стирания различий между сильным и менее сильным полом – такая благородная и справедливая, начатая британскими суфражистками (из-за грамматической особенности английского языка, в котором нет пола), – снижает разность потенциалов. Божий замысел сходит на нет, а с ним – и Бог. Бога становится всё меньше в нашем мире, он мельчает – и вот-вот уйдет в геометрическую точку, когда в мире останутся одни женщины (потому что биологическое место мужчины – подсобное, вторичное, праздное; без него можно обойтись). Бог – это пол. Через что еще он заявляет о себе так явственно?

Эти непосильные соображения тут к слову пришли; к Хазанову они прямого отношения не имеют. У него противостояние полов – классическое. Это тем интереснее, что сам он – не классичен, пространство и время у него не ньютоновы, а эйнштейновы; корпускула смысла проникает в два отверстия сразу, как в квантовой механике.

Две темы и ещё третья

Две темы первым делом бросаются у него в глаза, разворачиваются на фоне прошлого небывалой, притягивающей и отталкивающей страны. Одна, можно допустить, не без хомо Фабера возникла: инцест. Библейское, безотчетное, но небезответное, влечение отца к дочери, брата к сестре. Тут – Эдип; острие человеческой трагедии. Трагедия ведь там, где боги подстраивают человеку ловушку – и безвинно казнят его, когда он попадается. Если человек сам виноват, трагедии нет. В настоящей трагедии нет виноватых, тем она и страшна; и выхода из нее нет. И хомо Фабер тут, пожалуй, ни при чем; он к слову пришелся. Тему не придумашь; она должна жить в тебе, иначе она – не тема. Их, тем в литературе (в мире человеческом), незамутненных тем, всего семь: по числу дней недели, по числу главных светил у халдеев и священных городов в Месопотамии; по числу нот в нотной грамоте и струн у кифары (опошлившейся до гитары). Простое число; проще – только троица. Остальное – вариации. Занятно, что с усложнением

жизни число тем не возрастает, а убывает. Карло Гоцци их 35 насчитывал; Шиллер не мог набрать тридцати, а теперь уж вот ученые мужи и жены сошлись на семи. Кстати, кто это сказал, что жизнь усложняется? Она дробится. Человек-то – уж тут невозможно сомневаться – мельчает (по мере мельчания Бога); древние были крупнее нас – и содержали нас в себе. В Аврааме – и Моисей уже заложен, и Иисус (наполовину; по материнской линии), и Марк, и Фрейд, и Эйнштейн. Презанятная, кстати, линия получается, приводящая к мысли об относительности всякой истины.

Вторая главная тема Хазанова – совсем рискованная; тут он по остирию ножа ходит. Лирический герой – герой литературного произведения или вообще любого рассказа, хоть автобиографического (а в честной биографии, говорит Орвелл, должно быть что-то постыдное), – не может совсем перестать быть героем, не должен быть лишен хоть какой-то доблести. Это – закон жанра. Берем Монтеня: уж как он себя принижает, но не до конца, с оговорочкой. Отметил это первым Руссо – и сам туда же. Я ничтожество, я последний из людей, слуга, вор, Альфонс, однако вот взгляните... Работает западная двойственность; принцип «да, но...». Это у тех, кто о себе писал. Романист же еще больше связан. Роман должен быть занимателен, персонаж – замечателен. Флобер хотел сломать этот закон, да сам сломался. Джойс... но этот, не к столу будь помянут, уже не для читателя писал и не для Бога, а для литературоведов. Вот и не сходит с экранов Джеймс Бонд (срисованный с лица вполне исторического: с Сиднея Рейли, он же – украинец Шломо Розенблюм). Другой полюс – мыльная опера, *real life*. А художнику куда деваться?

Хазанов выводит простых людей (на автора словно бы и не похожих; важный принцип: отрешиться от автобиографичности). *Час короля* – не исключение; там король – тоже простой человек, хирург, да еще к тому же и уролог; опять гендерные дела, в связи с которыми там и Гитлер появляется. Как сделать простых людей интересными? Поместить их в необычные условия. Это мы проходили: Лем, Брэдбери, Азимов, Стругацкие. И до них было. Гулливер уж куда как прост, но он становится совершенно необычен в стране великанов и в стране лилипутов. То же и с Робинзоном на острове. Хазанов выходит из положения методом квантово-механическим: у него событие одновременно происходит и не происходит; и – релятивистским: искривляет пространство, смещает время. Конечно, это уже было под солнцем, но вспомним: сюжетов – всего семь (стало быть, все они заимствованные; у Пушкина, например, нет ни одного не заимствованного), а приемов – мы не знаем, сколько, но можно поручиться, что их, агрегированных, тоже считаное число окажется; считаное и простое. Талант отвечает на вопрос: *как?*, а не на вопрос: *что?*

А вот то, чего не было под солнцем – или было, да не совсем так. Как ни прост герой, в любом романе наступает момент, когда ему нужно соединиться с героиней, и – будь он хоть последний мерзавец или обыватель – тут мы с ним (или с нею) всей душой, потому что нас вплотную к Богу подводят, к биологическому заданию. Тут зов предков. Тут, хотим мы этого или нет, мы сопереживаем, перевоплощаемся в героя (на чем и держится искусство). Тут-то у Хазанова и происходит полное, последнее развенчание героя-мужчины, чего самые смелые себе не позволяли: герой оказывается несостоятелен. «Ее пальцы в отчаянии схватили его липкую, беспомощную плоть, так что он взвыл от боли. Никогда в жизни он не чувствовал себя до такой степени опозоренным...» Пример выхвачен наудачу. Не все герои Хазанова таковы, но мотив повторяется – и остается в памяти как один из главных. Еще важнее другое: тот же герой – и в *той же самой ситуации*, не в похожей, а именно в *этой, единственной* (частица входит в два отверстия сразу) – оказывается таким, как все; но ведь мы никогда не знаем, что на самом деле произошло (особенно между ним и ею), а слова – сказаны и сделали свое дело. Нормальное развитие событий сливается с ненормальным; запоминается – ненормальное. Разве захочется такое перечитывать? Разве мы полюбим такого писателя, пойдем его? Он *слишком* смел.

Что до третьей темы (третьей вариации), то она – тоже гендерная, но уже в самом широком смысле: это – ужасы двадцатого века, самого жестокого в истории человечества. Тут у Хазанова опять неудобство. Зачем писатель возвращает нас к лагерям и газовым камерам? Надоело. Мы больше не хотим. Мы хотим радоваться жизни, которая (черным по красному) удалась. Но ведь палачи тоже именно этого хотели – и они никуда не делись, они и сейчас хотят, только палачествуют по-новому...

В аллеях темно

Хазанов темен, как Достоевский. Точнее, как Тинторетто: тот ведь совсем не темен, если приглядеться и вспомнить. Так и тут. Светлая, спору нет, вещь *Час короля*, хоть это и схема с

трагическим задником; но она ранняя, а остальные – темноваты. В компанию к его героям – не тянет. Зачем он выбирает такие краски? Почему не хочет порадовать нас-болезных?

Потому что мы не заслужили радости. Покая тоже не заслуживаем. Это одно. А второе и главное вот что: искусство ведь не о радости трактует, а о наслаждении, и по этой части в темных аллеях всё в порядке. Когда свыкаешься с освещением, от картин Хазанова не оторваться, они возвращаются и остаются. Десять раз произнесенный в его адрес упрек несправедлив: он – не мыслитель в своей прозе, он художник. Говорят: в его аллеях темно, потому что они перегружены мыслью. Верно; но эта мысль совершенно так же не вычленяется из Хазанова, как из Толстого. Она еще меньше вычленяется: она – парадоксальна, провокативна; не к евангельской жизни приглашает, а к наслаждению текстом – только и всего. Вот мы на днях еще немножко повзрослеем и поймем: нельзя изображать, не размышляя.

«Если в кране нет воды...»

Еще говорят: Хазанов засовывает нас в чулан. Вместо раздольной русской жизни с ее матушкой-Волгой (великой татарской рекой), вместо пресловутой всемирной отзывчивости – русский писатель всё сползает на еврейскую тему. С чего бы это? Берем его *Антивремя*: уж тут-то, думаешь, обойдется, ан нет: под конец прорывается. И как! Но об этом рассуждать не будем; это нужно перечитать, пережить. Нельзя пересказать писателя. Мир созерцает художник – и судит, и дерзкою волей, / Демонской волей творца – свой созидает, иной. Писателя, художника только коснуться можно, прокомментировать по касательной. Человек равновелик вселенной; частица его внутреннего мира, вынесенная в текст, – тоже.

Отчетливо помню это чувство: меня засовывают в чулан. Но оно прошло. Оно было искривлением пространства, очень советским искривлением. Советский мир был заповедником XIX века в двадцатом. В культуре мерещился пантеон; писатели казались властителями дум. (Это ж нужно было такую формулу придумать: *писатель земли русской!* Отчего мы никогда не слышали о *писателях земли* английской, французской?) Народничали. Священнодействовали до самого начала 1990-х. Великая русская литература – и вдруг евреи. Нельзя ли без них?

Нельзя. Так уж случилось исторически. С другими народами тоже случилось. Сегодня в каждом втором испанце течет этакая маленькая примесь еврейской крови. Евреи – коренные жители Испании; они там до испанцев появились. В Россию они тоже не приходили: Россия пришла к ним. И вышло, что нельзя написать честную прозу о России XX века, обойдя стороной еврейский вопрос. Деревенская проза (как и научная фантастика) была эскапизмом не только от советской власти: еще и от евреев. Мол, там, в глубинке, где еще история не началась, уж там-то их нет. Напрасный труд! Они есть и были всегда. Достаточно вспомнить, что такое жидовище, как Троцкий, – выходец не из мещан черты оседлости, а *из русских крестьян*. Сам Хазанов работал врачом в сельской больнице. А ссыльные в Сибири? Но это долгий разговор. Проза – не для крестьян пишется, не для русских крестьян. Они если и жнут, то не разумное-доброе-вечное. А городская русская жизнь без евреев – такая же схема, как производственный роман. Не хотите – не ешьте. Истина нелицеприятна. Кажется, это Лютер сказал, но мы и без него знаем.

Еврейский вопрос – вопрос на засыпку. Пробный камень, если угодно; камень преткновения, на котором новгородец Васья Буслаев шею сломал. В страшную глухую пору, когда дышать было нечем, когда буддийская Москва подавила всё живое, честь России спас один харьковчанин с татарской фамилией:

Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.

Будьте вечно такие, как есть, –
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки...

Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,

что одно скажет правнукам Русь:
как не надо на свете.

Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои —
поголовно евреи...

Борис Чичибабин, если не вспомнили. Написано в 1978 году.

И еврейский ответ не обойдешь. Испания, выбросив евреев, за сто лет съехала на положение второстепенной державы — а ведь над нею солнце не заходило. Еще один долгий разговор. Оборвем на полуслове.

С Хазановым же так вышло, что чулан оказался тоннелем, в конце которого — свет. Выходом в широкий мир, к той самой всемирной отзывчивости, которая на поверку не вовсе русской оказалась. Здесь он тоже смел до дерзости. Он говорит нам: можно быть евреем и русским. Одновременно. Русским писателем (писателем земли русской, в эмиграции, без всякой земли, потому что любая земля — жупел) и евреем. Евреем — и русским националистом: потому что кто же такой националист, как не служитель национальной культуры (а ведь Хазанов по-русски пишет)? Этот тип обозначился в России после 1990-го: честный русский националист из евреев, еврейства не прячущий. Хазанов опередил типаж на десятилетия. Он всё это понимал уже тогда, когда слово *еврей* стало открытым ругательством, преспокойно заменив запретное (и совершенно безобидное) слово *жид*. О расистах не говорим; смешно говорить. Генетический великоросс — выдумка и суеверие. Никогда, ни на одном этапе своей истории русские не были племенем: всегда — связкой племен; всегда — государственной и культурной общностью. Нужно ли напоминать, что сегодня вторая религия в России — ислам? И что первый — самый первый — документ древнего Киева написан на иврите?

«Пастернак да сельдерей»

В 1980-е годы в одной ближневосточной стране, на четверть русскоязычной и сегодня уже не столь отдаленной (а в ту пору словно на Марсе находившейся,) группа молодых — точнее, еще нестарых — людей (находившихся в плену прежней, из XIX века вынесенной, утопии, мечты о великой русской литературе, о великом и могучем языке) задалась престранной мыслью: выявить среди современников абсолютного стилиста (естественно, пишущего по-русски). Долго ломали копыя — и к единому мнению не пришли. Где два еврея, там три мнения. У меня есть на этот счет мнение, но я с ним не согласен. Обычная история. Солженицына («с чисто семитской жестокостью») отвергли сразу. Иные готовы были признать, что он писатель земли русской, все признавали его вклад в борьбу с подлым и бездарным режимом, но за стилиста его не держал никто. Было ясно: человек лишен всякого языкового чутья; не владеет нормативным языком, оттого и юродствует в слове (и еще оттого, что юродивый на Руси всегда найдет сочувствующих).

Запутались в определениях. Брать ли в расчет публицистов и эссеистов, или только прямых прозаиков? Запутались в именах. И, вот беда, почему-то выходило, что все кандидаты — евреи, а этого участникам спора совсем не хотелось. Не сразу догадались, в чем дело, хотя вопрос был проще пареной репы: стилист — в первую очередь хранитель; страж культуры; а у национальных алтарей, куда взгляд ни кинь, всегда кордегардия из нацменов...

В итоге затею эту бросили; но Хазанов в споре был назван, и отстаивали его с большой, чисто русской литературной горячностью. Не как абсолютного стилиста, таковых нет, а как лучшего стилиста современности.

Пройдет ли он в короткий список сейчас, когда многие пишут хорошо, иные и замечательно (а большой литературы нет)? У Хазанова (прости, Флорбер!) встречаются однокоренные слова на одной странице, даже в одной фразе. Его книги обставлены эпиграфами из красного дерева на гнутых ножках, совершенно лишними и неуместными. Названия — почти все неудачны, вызывают ненужные, неверные ассоциации. *Антивремя. Московский роман...* Один подзаголовок чего стоит! Что делать читателю, а таковых немало, который по-настоящему, в сердцах, не любит эту новую Ниневию, город кровей, бессовестный, паразитический город, чуждый и враждебный России?

Есть, есть что поругать у Хазанова. Кто без греха? Но одно придется признать: текстов более густых, более ассоциативных и более выверенных сейчас не найдешь. Он — уж это точно —

самый образованный писатель современности (и чуть-чуть излишне щеголяет своей эрудицией; как Борхес). Густота ткани превращает его короткие вещи в длинные. Он пишет медленно – и читать его квантово-механическую прозу приходится медленно, по-старинке.

Расстрел без права переписки

«... из нынешних жителей Косова...», пишет он. Слава богу! Многие ли сейчас понимают, что только так и правильно? Флексии уходят из языка; с ними уйдет и язык, а с языком – последняя память о русском народе, не теперешнему, он стоит недорого, а о том, которого больше нет: который создал великую литературу, литературу милосердия и сострадания. Авторы мультфильма *Трое из Простоквашино* – изменники родины; по ним 58 статья сталинской конституции плачет (по которой сидел Хазанов). В сознании миллионов детей застряло на всю жизнь, что названия типа Косово, Пулково, Шереметьево, Переделкино, Иваново не склоняются: Сказать «трое из Простоквашино» – дикое уродство; то же, что сказать «трое из Москва». Но так и будет. Так – с немецким акцентом – будут говорить в самом непосредственном будущем. В современной Москве уже говорят не по-русски, да заметно это только со стороны.

Кощеево царство

«Вот экспозиция: похожая на реку из грязи дорога и кузов застрявшего грузовика. Кругом поле, заросшее диким бурьяном... Вылезшему из кабины горожанину кажется, что он попал на край света. Из-за горбатого косогора, на который так и не удалось взобраться, выглядывает деревня, полтора десятка прохудившихся и кое-как залатанных крыш. На плешивом лугу, точно павший конь князя Олега, разлагается какой-то землеобрабатывающий механизм. И всё это кощеево царство затянута паутиной дождя...»

Однажды, бродя по полям, заезжий гость, ибо кому же еще могут прийти в голову подобные мысли, спускается в лощину, по упавшему дереву храбро перебирается через тихую речку и попадает в другой век. Два ряда древних полусохших лип, аллея, заросшая травой, и вдалеке белеет дом с колоннами. Этот дом пуст. Колонны осыпались, обнажился кирпич. За домом, призвав на помощь воображение, можно обнаружить остатки дворянского парка, где гуляет привидение – барышня в соломенной шляпе, в белом платье, с книжкой в руках. Перед вами памятник погибшей цивилизации. Здесь обитало исчезнувшее племя – в этих поместьях, близ этих рек...»

Это из публицистики Хазанова. Было время, когда в Хазанове ценили не столько писателя, сколько публициста. Тут стилистический его блеск на виду, и многие отмечали это, а мешало многим (большинству) – то же, что в прозе мешает: мысль. Большинство стервенеет, когда натывается на непривычное, неудобное. Большинству кажется, что оскорбляют святыню. И большинство право: мысль – кощунственна по самой своей природе. Разве не богохульствовали Коперник, Джордано Бруно, Галилей, Эйнштейн?

Хазанов сказал страшные вещи. Например, что Россия, которую мы так страстно и безнадежно любили под серпом и молотом, – миф. Сказал, когда путинская Россия и на горизонте не маячила. Разве это не пророчество? Сказал, что русский народ – выдумка русской литературы. Народа, о котором грезили Толстой и Достоевский (а с их подачи Европа), никогда не существовало; существовал в эмбрионе, в крепостничестве, в доисторической дремоте – сегодняшний русский народ, с гусеницами, боеголовками и полонием. В 1917 году он покончил с другим русским народом, верхним, совестливым, тем, который создал культуру и мечту о всемирной отзывчивости; вытеснил этот народ – и Россия словно маску сбросила; на месте христианского милосердия изумленному миру предстала злоба, замешанная на зависти, и неслыханная жестокость... Отчетливо помню, как страшно, как горько было читать об этом тогда, когда с Россией еще связывали какие-то надежды.

Первый ли Хазанов произнес эти страшные вещи? Какое! Сюжетов – всего семь... Разве не Георгий Иванов сказал (ямбом): «России – не было»? За полвека до Хазанова сказал. Разве Владимир Вейдле, православный мыслитель и страстный патриот, не сказал: «Россия – не удалась, исторически не состоялась»? И другие догадывались. Но был запрет, внутренний, нравственный запрет, подсказанный любовью, – и Хазанов, тоже движимый любовью, нарушил его в самое неподходящее время: в 1970-80. Одни не услышали, другие не поняли. Не хотелось

такое слушать. Был же у европейских интеллектуалов запрет на ГУЛАГ. Лучшие умы отвергали это как бред и кощунство. Люди предпочитают верить, а не думать.

Мечта о добром самаритянине

Есть еще одна тема, одна вариация. Хазанов сполна отдал дань мечте о России. Так любил ее, так мечтал о ней, как немногие. Резал по живому, уезжая (уезжал же в ту пору, когда уезжали навсегда). Сотни, тысячи эмигрантов 1970-80-х пережили свой единственный приступ ностальгии еще до отъезда: принимая решение уехать (а уехав, так и не узнали ностальгии классической, которую Цветаева называет «давно разоблаченной морокой»).

Одно из преломлений этой любви у Хазанова – мечта о русском человеке. В *Чудотворце* христианский священник гибнет от нацистской пули, пытаюсь остановить отправку евреев в Освенцим. В *Антивремени* перед юношей сталинской поры (за день до его ареста) открывается возможность эмигрировать, ему сулят человеческое достоинство, общество без лжи и жестокости, Кембриджи и Сорбонны, а он твердо отвечает: «Нет», и это при том, что в семье – голод, да и неродной он в этой семье, а приемный (очень, очень важная символика). Конечно, не только о русском человеке мечтает ранний Хазанов, а о человеке вообще. *Час короля*, где герой – скандинав или немец – апофеоз этой мечты. Но в первую очередь – о русском.

Была у Хазанова, может, и по сей день не умолкла, вера в то, что великий для России девятнадцатый век не вовсе умер, что остался в этой стране тончайший, но плодоносный слой тех особенных людей, которые так много дали миру. И к христианству Хазанов был близок. Горько и больно видеть, чем это обернулось. На мечту о добром самаритянине (не одного Хазанова, другие тоже мечтали) Россия ответила беспримечным в истории образом: убийством Александра Меня. О сегодняшней России и не говорим. Тоже ответец хоть куда. В семидесятые и восьмидесятые годы в самиздате ходила вещь Хазанова *Новая Россия*, проникнутая любовью и верой. Зарубленному топором священнику в одном повезло: новой России он не увидел.

«Я продолжаю читать Бориса Хазанова, иногда с интересом...»

– пишет московский эссеист, старший соратник Хазанова по «застойной поре», несколько злоупотребляющий местоимением первого лица единственного числа. Он остался, не эмигрировал – и продолжает спорить с Хазановым по этому ностальгическому пункту:

«...ни одна вещь, написанная в Мюнхене, не брала меня за горло так, как “Час короля”, “Запах звезд”, “Взгляни в глаза мои суровые”. Только возвращение к памяти детства, начатое еще в Москве (“Я воскресение и жизнь”), сохраняло свою теплоту...»

Старая песня, не правда ли? Почвенническая. В человеке мыслящем – странная. Цветаевой «разоблаченная морока» не помешала; десяткам наших современников – тоже. Отчего бы, производя такие оценки, не брать в расчет разрешающую способность прибора? Наши душевные диоптрии изнашиваются; и, кроме того, мы частенько надеваем на них идеологические фильтры. Мы не свободны от этой потребности (очень гендерной): всё примерять на себя, самоутверждаться за счет других. Не растерял Хазанов теплоту (и не теплота у него главное), а «за горло» – или, скорее, за душу – бог весть кого он еще возьмет; иные еще и не родились. Проза ведь – не эссеистика, она живет долго.

Кто, если не он?

В связи с Бродским был некогда задан умильный вопрос: достойны ли мы быть его (Бродского) современниками. Спрашивавшая была современницей Колмогорова, Шостаковича, Gell-Manna'a – и застала Гитлера, Сталина. Будь она поумнее и покультурнее, она бы спросила: доросли ли мы до Бродского? Именно это она хотела спросить, да не смогла. До Бродского мы доросли – потому что оценили его при жизни; не без помощи шведской академии, но всё же. С Бродским шведские академики (случайно) не промахнулись, спасибо им, хотя вообще история Нобелевской премии интересна именно их ошибками. Они проглядели Георгия Гамова, физика, которому полагались две премии по физике и одна – по биологии... за двойную спираль Вотсона

и Крика. Из русских писателей *ни один не получил* эту премию только за свой талант, без учета политической конъюнктуры. Эстетическая конъюнктура тоже важна: вспомним Грэма Грина. Вообще в Стекольне держат нос по ветру, черную Африку не забывают (по разнарядке и в угоду политической корректности), на восток же поворачиваются нехотя, и тут они правы: это обочина, если не интеллектуальная, то уж языковая – точно. Чернокожие поэты Анголы, пишущие по-португальски, ближе Европе, чем те, кто пребывает в кириллице.

Доросли ли мы до Хазанова? Непохоже. Шведские академики – и того меньше; и тут их не упрекнешь: им трудно. Сидит человек в Мюнхене, пишет кириллицей про евреев (на самом деле – про русских, но один не услышит, другой не поймет), партией на щит не поднят, шороха знамен за его спиной не слышно. Родись он и вырасти в одном из нормальных западных языков, хоть в том же португальском, все было бы в порядке: был бы услышан многими и сразу, а не по очереди; в свои 62-65 лет, как положено, получил бы Нобелевскую премию, то есть на минуту был бы выхвачен лучом юпитера и тотчас забыт (как Айзек Башевис Зингер, сказавший о себе: «Вчера – еврейский писатель, сегодня – нобелевский лауреат, завтра – еврейский писатель...»). Нобелевская премия ведь только в России кажется помазанием на царство, а здесь... – здесь Грэм Грин и не заметил ее отсутствия, у него была премия поважнее.

На Хазанове гимнастерка не пуста, несколько московских регалий (еще честных, не теперешних) позвякивают на ней. Не знаю, к лицу ли они ему. Не знаю, пошла ли бы ему и нобелевская побрякушка. Ну, выдвинут его. Ну, задумаются в Стекольне; люди они умные и честные (не в пример москвичам), хоть и трудно им. Ну, получит он ее. Что толку? Где «великая русская литература»? Про сегодняшнюю только одно можно сказать: она то потухнет, то погаснет. Нет, по мне – пусть уж лучше Хазанов останется в одной компании с Толстым, которому шведы – «Запад есть Запад, Восток есть Восток» – Киплинга предпочли.

ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогой Геннадий Моисеевич,

от имени самой себя и по поручению нашего общего возраста я поздравляю Вас со вступлением в молодежную секцию тех долгожителей, о которых поэт когда-то неосторожно выразился: «лет до ста расти/ нам без старости». Сам он, впрочем, от светлого будущего уклонился. Зато коллегам – прозаикам (которых скорее хочется назвать «survivors», чем «долгожителями») придается в поте лица отрабатывать и следующую замысловатую рифму: «год от года расти/ нашей бодрости».

Поэтому я от души благодарна Вам уже за одно то, что Вы есть. Еще более за то, что Вы не устаете покрывать «кириллицыным знаком» бумагу, экран компьютера – любую поверхность, которую технический прогресс предоставляет для радостей писания со времен Гильгамеша. Слово «графоман» подхихикивает; на самом деле свойство это завидно. Разве без страсти к писанию могли бы появиться Шекспир, Диккенс, Бальзак, Толстой или Достоевский?

Не говоря о Вас. Я благодарна Вам за то, что каждая Ваша фраза, помимо прочего, проникнута радостью самого писания, поиска и составления слов.

Если что и может спасти литературу перед лицом наступающей аудиовизуальной эры, то скорее всего любовь писателей к процессу писания; графомания. Меж тем как живопись придется скоро занести в Красную книгу...

Дорогой Геннадий Моисеевич,

отдельно и особо я благодарна Вам за краткую, но универсальную теорию литературы в эмиграции. За все ее «pro» и «contra» (помните словцо «диалектика»?).

Вы – «изгнанник», и это звучит гордо, я отношусь к сомнительному племени эмигрантов, но, черт побери, «не есть ли эмиграция идеальная модель творчества»? Тут каждый по праву русскоязычный, ибо отечество изгнанника – его язык; но он же – и тут Вы снова правы – есть и его тюрьма. Какое-никакое чтение текста чужой жизни – увы – не включает ее контекста. Зато у вечно бездомного искусства есть для ночлега подземелья памяти.

«Если – Вы не опустили и такой нюанс – есть на что жить».

Тогда пишущий одинок и свободен. Наконец.

Свободен – тут я продолжу – от чего?

Он свободен от вмешательства цензуры (впрочем, радикально упраздненной); еще больше — от гнета общественного мнения; от диктата текущей моды и местных предрассудков. Но свободен и от читателя, от «своей» публики.

Он свободен от повседневной суеты сует публичной жизни; от соблазна приемов и презентаций; от цеховых и политических интриг. Но — и от общественного признания.

Он свободен от какофонии современной полуфени; от сокрушительных грамматических нонсенсов; от назойливой обценности текущей речи. Но — и от шума и ярости живого, меняющегося слова.

Он одинок среди себе подобных — бесчисленных изгнанников и эмигрантов, пишущих на том же языке, но остающихся несообщающимися сосудами. Он предоставлен себе, и это — я возвращаюсь к Вашей мысли — в некотором смысле и есть идеальная модель творчества.

Если ему есть на что жить и о чем писать.

...Вы пишете и, надеюсь, будете писать еще долго...

Майя Туровская

Мы познакомились с Геней Файбусовичем на тусовке отказников. Кажется, это было зимой 80-81 гг. Меня пригласили прочесть доклад о Достоевском. Достоевского публика не очень хорошо знала, но люди годами сидели без работы и без дела, а я готов был поговорить о том, что мне самому было интересно.

После доклада один из слушателей сказал, что восхваление антисемита Достоевского — пример отсутствия национального чувства самосохранения, от чего евреи уже не раз погибали. На лице Файбусовича я заметил ироническую улыбку, и мы обменялись с ним несколькими замечаниями вполголоса. Гена был не совсем похож на образ, возникший при чтении «Часа короля», я ожидал нечто более патетическое, но человек мне нравился, и мы обменялись адресами. Еженедельные встречи сразу же стали нашей традицией.

Изо всего, о чём мы философствовали, я почему-то запомнил гротескную идею: о вирусе интеллектуальной жизни, создающем монопараметрические теории. Попадая в логическую машину нашего мозга, он превращался в базис, а всё остальное определял как надстройки: развитие производительных сил, половое влечение и т. п.

После отъезда Гены и укоренения его в Мюнхене интеллектуальные игры продолжались письменно. Опять-таки всего не упомяну. Чётко осталось предложение Гены собрать на пустынном острове тысячу интеллигентов, обеспечить их библиотекой и всем остальным необходимым и продолжать русскую культуру без помех со стороны русской политики. Я отвечал, что «Преступление и наказание» было бы невозможно без петербургских трущоб, пьяного Мармеладова, раздавленного лошадами, и Катерины Ивановны с её платком, захарканным кровью. Кажется, в «Страну и мир» эта дискуссия не попала. Помнится, я там препирался с Львом Николаевичем Гумилёвым, а Гена присылал мне свои повести и рассказы. Осталась в памяти история, развивавшаяся сразу в трёх срезах времени, временами забавно встречавшихся друг с другом. Но на сердце лёг скорее простой рассказ об отрочестве в эвакуации, в каком-то глухом углу, незадолго до конца войны. Тёмная баня, в которой что-то делали женщины, не стеснявшиеся мальчика, разговор с раненым солдатом... Что-то от действительности, в которую меня самого втянул век, что-то от моих собственных отроческих проблем и впечатлений...

Переписка длилась очень долго. В неё попали тревоги, вызванные вызовом на Лубянку и «предупреждением о применении ст. 90», о котором я сообщил в Мюнхен и получил в ответ предложение помочь мне переехать в страну с более мягким климатом. Кстати, хочется объяснить, почему я упорно оставался в России. Тут очень многое сошлось, отчасти связанное с Зинаидой Миркиной, вся аудитория которой в России, и с отпечатком войны в моём характере, с известной даже любовью к риску, который многих отталкивает. Во всяком случае, я считал и считаю отъезд глубоко личным делом — и каждый из нас выбрал то, что ему больше по душе. А теперь мы уже вросли в свою судьбу — и я в канун моего 90-летнего юбилея могу только пожелать молодому 80-летнему юбиляру больше сил в борьбе с тревогами нашего почтенного возраста и выдержки в борьбе с физическим упадком, которого нельзя избежать, но можно уравновесить силою духа. И я надеюсь, что у Гены этой силы хватит. Я часто его вспоминаю в последнее время и разделяю его тревоги.

Дай Бог здоровья и сил, насколько это возможно!

Григорий Померанц

Мог ли подумать шесть десятков лет тому назад славный наш юбиляр, что худо-бедно, но доканает он до этих дней, да еще не с Альцхаймером, Фейхтвангером и Оппенгеймером в обнимку, а, как говорится, рука об руку с подругой жизни Лорой, без которой, точно так же, как и я без своей любимой Иры, давно бы уже погиб смертью храбрых под одним из отечественных наших заборов? Разумеется, подумать об этом было невозможно.

Ведь подсел он, кажется, на восемь лет по 58-ой, то есть, если выразаться точно и в стиле тех лет, подсел ни за хер. И стукнуло ему тогда лет двадцать, и сам он был не чумоватым матросом вроде меня, тоже огрѣбшим четыре года за угон «эмки» секретаря крайкома и драку с патрулями, а был он уже эрудитом выше крыши, студентом МГУ, изучавшим западную филологию, молодым интеллигентом, успевшим прочитать горы книг, что-то самостоятельно кропавшим, знавшим языки, великую музыку, пиликавшим то ли на скрипке, то ли на арфе, то ли на органе и т. д. и т. п...

И вдруг – это он-то, Геня Файбусович, собственно, ни в чем не повинный юноша, всегда чуждавшийся дворовых игр и делишек, еще не дошедший до утверждения физическим трудом мускулов телесных и испытавший всенародную беду недоедания лишь во время войны, – вдруг оказался Геня в гестапо родного Отечества, в ежовых рукавицах Органов.

Потом, как и все сотни тысяч совершенно невинных граждан самой – с понтом – демократической страны в мире, прошёл он через такие муки допросов, через такое безумие непонимания происходящих вокруг ужасов унижения и оскорбления человека и человечности, через холодругу, голодуху, беспредел ВОХРы и урок, через жестокость, уродующую самые святые основания идеи Труда, которые вообразить бы был не в силах ни известный зек Аввакум, ни герои Кафки, ни борцы за народное дело – узники Петропавловки, Бутырок и прочих вполне цивилизованных казематов Отечества, истекавшего, как учили нас в школе, слезами и кровью под игом чудовищного самодержавия.

Я уверен, что у многих счастливых, отволокнувших в те годы срока, выживших и вышедших на свободу, неизмеримо возмужало в душе чувство человеческого достоинства, сполна оплаченное всеми страданиями, унижениями и оскорблениями, которым человеческое достоинство подвергалось палачами, до сих пор остающимися исторически безнаказанными в слепых умах отечественных коммунак.

Словом, как бы то ни было, сегодняшний юбиляр не только выжил в застенках и лагерях, но вышел на свободу с аттестатом, верней, с дипломом такой интеллектуальной и душевной зрелости, какой не дали бы никакие иные школы и вузы.

Уверен также, что все испытания не могли не сделать юбиляра истинно замечательным писателем, прозаиком, эссеистом, мыслителем, хотя на свободе – поначалу поднадзорной – был и отличным врачом, кандидатом, между прочим-то, наук, затем одним из самых опытных редакторов журнала, весьма заслуженно популярного в годы застоя. Затем... стоп...

Увлечись биографией юбиляра, я как-то позабыл, что её, биографию одного из лучших русскоязычных писателей нашего времени, непременно когда-нибудь напишут, если, разумеется, будет кому писать, – раз; если не деградирует наш родной, великий и могучий, а с ним и отечественная словесность, – два; если благородный дух великой русской литературы сохранит свое классическое достоинство, не то что бы противоборствуя со СМИ, с ТВ, с кино, с поповым шоу-бизнесом и, бог весть, с еще какими-то делами, – но всегда будет оставаться тем, чем всегда он был для личности и культуры народа даже в самые страшные для страны и всего мира исторические времена: могущественной поддержкой Человека в Божественном Деле преобразования его из животного, зверя в высокоподобное Существо, представить которое, к сожалению, невозможно, – это три.

Биография – биографией, а все написанное Геннадием Моисеевичем Файбусовичем, он же Борис Хазанов, тянет на весах Добра и Зла так, что Злу не найти противовеса ни художественным образам юбиляра, ни занятости его всегда высоконравственных и в высшей же степени эстетичных романических миров, ни обаятельным новеллам, ни многочисленным эссе – поверьте, всех литзаслуг писателя тут не перечислишь.

Ну а о том, что он, наш юбиляр, за человек, – и говорить не стоит, потому что жене его Лоре, а также моей жене Ире, мне, всем друзьям Гени – совершенно ясно, что где-где, а на Страшном суде у него, у юбиляра, всё уже в полном порядке, не то что шесть десятков лет назад на Лубянке...

Господи, годы эти так быстро промелькнули, что хочется напомнить юбиляру, если он позабыл, лагерную мудрость, незнакомую, полагаю, самому Эйнштейну: день тянется долго, червонец – еще медленней, а четвертак проходит мгновенно.

Вот и замечательно, дорогой друг, что дожил ты до восьми червонцев, что вот-вот разменяешь девятый, что пашешь с утра до вечера на многотерпеливой ниве литературы. Поздравляем тебя и Музу твою – подругу всей твоей жизни Лору, сына и мать ваших внуков да и их самих.

Спасибо тебе за многолетнюю дружбу.

ЦЮИ, что означает на птичьем клекоте певчих наших горлышек: ЦЕЛУЕМ ЮЗ ИРА.

Юз Алешковский, 28.08.07

Сегодня мы с Ирой получили от нашего давнего друга скорбнейшую весть: Лора умерла.

В этих, во всего лишь двух словах, в бывшем Подлежащем и в вечном Сказуемом, заключена совместная жизнь Юбиляра с покойной женой и другом, больше полувека полная счастья и прекрасной дружбы.

Царство Небесное тебе, Лора.

Увы, теперь уже пожелаем тебе, дорогой наш друг Геня, не только здоровья да веселья духа и расположения Музы, но и редчайшего из всех видов земного мужества – мужества не унывать, но держаться, жить, жить и жить, сколько суждено, ради Лоры, душа которой наблюдает за тобой, – я абсолютно в этом уверен – на этом, до известного срока, свете, а потом и с того света.

Так что разлуки больше не будет – впереди встреча на, действительно, высшем уровне.

Твои друзья Ира и Юз

Бенедикт САРНОВ

МУЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Русский писатель Борис Хазанов живет в ФРГ, в Мюнхене. Чтобы объяснить, почему так случилось, пришлось бы рассказать всю его жизнь. Поэтому ограничусь тем, что скажу коротко: очутился он там не по своей воле.

Хотя – что греха таить! – мысль об отъезде возникала.

Впервые она возникла у него лет тридцать тому назад:

До сих пор мы жили в сознании нерушимой отъединенности от мира. Мы выросли с этим знанием. Оно было для нас так же естественно, как знание о том, что невозможно летать. Мы знали, что Россия – наше отечество; но мы знали также, что кроме отечества не существует никакой другой земли. Мы повторяли себе и другим, что если бы нам предоставлен был выбор, мы все равно не уехали бы. За всем этим, однако, подразумевалось, что уехать нельзя. Не говоря о том, что даже мимолетная мысль о бегстве была политическим преступлением, за которое полагалось сидеть в лагере, – эта мысль считалась нравственным преступлением. Приученные с детства считать привязанность к земле отцов похвальным чувством, зазубрив любовь к родине наизусть, мы как будто не догадывались, каким оскорблением для этой любви является ее на-лишственность.

И вот что-то произошло, и точно приоткрылась узкая щель на горизонте. На наших глазах происходит небывалое: то тут, то там соотечественники отбывают за границу. Просто так, законным путем, как «порядочные», точно свободные люди, со скарбом и семьями пересекают ту самую границу, которая пятьдесят лет была на замке, проволочный круг, на котором, кажется, и сегодня еще висят клочья мяса пытавшихся подлезть под него.

Непостижимо!

И, как пёс, проскуливший всю жизнь на цепи, вдруг увидел конец цепочки, просто так лежащий на земле, перевел глаза на ворота и – колеблется: вдруг ворота захлопнутся и защемят его? – так и мы боимся сдвинуться с места, переминаемся с ноги на ногу и ловим новые слухи. Слухи подтверждаются один за другим. Уехать – можно.

Соблазн воспользоваться этой внезапно открывшейся возможностью был велик. И он не скрывал этого:

Эх-ма, кто из нас не мечтал о свободе!

Жить по-человечески. Жить, не боясь за будущее детей. Не ожидая, что подкрадутся сзади и скрутят руки. Жить просторно, не даваясь в тесноте, не воюя ежедневно с бедностью и непролазным бытом. Заниматься любимым трудом. «По прихоти своей скитаться здесь и там».

Не скрывал он и того, что многое – да, собственно, почти всё! – в окружающей его реальности ему ненавистно до отвращения. Об этом каждой своей строкой вопили все 50 страниц той машинописной исповеди, которую я здесь цитирую.

А в заключение следовал вывод, потрясавший своей неожиданностью:

Ответ, который я даю, покажется нелогичным. Я остаюсь.

Мне было бы трудно дать исчерпывающее, а главное, вразумительное объяснение – почему...

Было бы лицемерием говорить о любви к родине. Та Россия, которую я люблю, в природе не существует. Её нет – и, может быть, никогда не было.

Но есть последняя драгоценность, которая у меня еще остается, – русский язык. Я не в силах вообразить себя в среде, где не звучит русская речь. Русский язык – это и есть для меня мое единственное отечество. Только на нем я могу объясняться с миром. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Новейшая психиатрическая доктрина учит, что бред умалишенного не отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. Безумие мое бредит по-русски...

Пока меня не прогнали – я остаюсь.

А там – будь что будет.

И вот – его прогнали. Вернее, – выпихнули.

Случилось это в 1982 году.

Как я уже говорил, насильственному его отъезду из Советского Союза предшествовало множество драматических событий, рассказать о которых тут даже вкратце не представляется возможным. Но об одном из них – том, что стало «последней каплей», – все-таки расскажу.

В один прекрасный день, точнее, в одно совсем не прекрасное утро в его квартиру вломилась (это не метафора – именно вломилась) шестеро молодых людей, оказавшихся следователями Московской прокуратуры. Предъявив ордер на обыск и изъятие «материалов, порочащих советский общественный и государственный строй», они унесли с собой рукопись романа, над которым писатель в то время работал. Рукопись была изъята вся, целиком, до последней страницы. И рукописный оригинал, и машинописная копия (автор только что начал перебелять свой труд и успел перепечатать от силы пятую его часть).

Над романом, который у него отобрали и который ему так и не вернули, он работал три с половиной года. Работал самозабвенно, урывая для этого главного дела своей жизни каждую свободную минутку. Урывать же приходилось, поскольку писательство было для него не профессией, а призванием: по профессии он врач и много лет трудился в этом качестве, а позже, оставив медицину, работал редактором в журнале «Химия и жизнь». Кстати, не исключено, что налёт на квартиру, обыск и изъятие рукописи были санкционированы (после ареста романа Василия Гроссмана наша литература других таких случаев как будто не знала) еще и потому, что в глазах тех, кто отдал этот чудовищный приказ, Геннадий Файбусович (таково его настоящее имя, «Борис Хазанов» – это псевдоним) вовсе даже и не был писателем. Ведь слово «писатель» у нас в те времена обозначало не призвание и не профессию даже, а **социальное положение**.

Как бы то ни было, обыск был произведен и роман – вместе с другими рукописями – арестован.

Событие это, и само по себе впечатляющее, на Геннадия Файбусовича произвело особенно сильное впечатление, поскольку оно напомнило ему другие события его жизни, случившиеся за

четверть века до вышеописанного: в 1947 году, не успев закончить последний курс филологического факультета МГУ, он был арестован и 8 лет провел в лагере.

Самое поразительное во всей этой истории было то, что изыятый при обыске роман даже по понятиям и критериям того времени никаких устоев не подрывал и никакой общественный и государственный строй не порочил. В кругу интересов автора романа (а круг этот, надо сказать, весьма широк: он – автор художественной биографии Ньютона и книг по истории медицины, переводчик философских писем Лейбница, блестящий знаток античности и средневековой теологии, эссеист и критик) – так вот, в кругу его интересов политика всегда занимала едва ли не последнее место.

В чем же дело? Чем **по существу** был вызван этот внезапный налёт следователей Московской прокуратуры на его квартиру?

Подлинной причиной этой акции было то, что в 1975 году Геннадий Файбусович под псевдонимом Борис Хазанов (именно тогда и возник этот псевдоним) опубликовал повесть «Час короля», которая сразу обратила на себя внимание всех, кому дорога и интересна русская литература. Эта повесть, рассказывающая о звездном часе короля, надевшего на себя желтую звезду, чтобы разделить гибельную участь горстки своих подданных, к несчастью автора, была опубликована в журнале, выходившем за рубежом. Хуже того! В журнале, который издавался тогда (о, ужас!) в Израиле.

Те, кто задумал и осуществил налёт на квартиру писателя, вероятно, не сомневались, что факт публикации повести в таком неподобающем месте – более чем достаточное основание не только для обыска, но, может быть, даже и для чего-нибудь похуже. А между тем не мешало бы им задать себе простой вопрос: как и почему вышло, что писатель, живущий в Москве, столице государства, разгромившего нацистскую Германию, написав антифашистскую, антигитлеровскую повесть, вынужден был опубликовать ее не у себя на родине, а в Иерусалиме. Да еще под псевдонимом!

За восемнадцать лет эмиграции Борис Хазанов написал и опубликовал немало новых произведений. Как и прежде, щедрую дань отдавал он в эти годы и эссеистике.

Многие его очерки и статьи сегодняшнему россиянину, наверно, покажутся злыми, резкими, написанными человеком раздраженным, пожалуй, даже уязвленным. Кому-то многое в ней покажется несправедливым. А кое-кому наверняка даже захочется заклеить жизненную позицию автора сакраментальным словечком «русофобия».

В этой связи я хотел бы привести несколько строк из стихотворения Владислава Ходасевича, которое он посвятил выросшей его кормилице – тульской крестьянке Елене Кузиной:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Её сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

Борис Хазанов, как и многие другие наши соотечественники (русский Андрей Синявский, еврей Александр Галич, кореец Юлий Ким, украинец Петр Григоренко), всем опытом своей нелегкой жизни выстрадал вот это «мучительное право» **по-своему**, а не так, как это предписано начальством или добродетелями-патриотами, любить Россию. И не вчуже, а по-сыновьи проклинать ее. И этого своего горького права он не отдаст никому.

Москва, 1988

Марк ХАРИТОНОВ

ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РАЗГОВОР

Наше недолгое московское знакомство с Геннадием Файбусовичем было прервано в августе 1982 г. его вынужденным отъездом в эмиграцию.

Я уже однажды писал, что в ту пору такой отъезд представлялся чем-то окончательным, непоправимым, слово Запад обретало тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет,

то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно. Надежды увидеться снова почти не было. Даже писать за границу надо было с опаской — письма просматривались, зачастую просто не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямыми намеками — это было тогда особое искусство.

Времена, однако, менялись. В мае 1988 года я был впервые приглашен за границу, на литературную конференцию в небольшой западногерманский городок Бад-Мюнстерайфель. На второй день конференции, оглянувшись во время прений, я увидел входившего в зал Файбусовича. Он тоже увидел меня, помахал рукой и сел на заднюю скамейку. Уже совсем седой, волосы как-то смешно всклокочены. Мы обнялись, расцеловались, потом до полуночи просидели с ним за бутылкой вина — и бесконечными, как в Москве, разговорами обо всем на свете, главным образом о том, что происходило у нас в стране. Встреча продолжилась потом через несколько дней в Мюнхене. А на другой год Файбусович выхлопотал мне стипендию одного частного литературного фонда в городке Линдау на берегу Боденского озера. Две недели мы провели вместе с ним и его женой Лорой, утром работали, после обеда гуляли по окрестностям. В разговорах Гена (так я к тому времени стал его звать) то и дело возвращался к теме эмиграции.

— У меня все время такое чувство, — сказал он однажды, — что я вырвался из отравленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского — и мне на него плевать. Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бояться каждого.

«О чём я до сих пор жалею, — написал он позднее в письме, — так это о моих московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разрешается. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выездной визы — клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Мой сын, ему не было восемнадцати лет, растерялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено — не положено».

Я видел, как время от времени он поглядывал на меня с сомнением: что меня удерживает в стране, тогда еще СССР, над которой все явственней нависала угроза катастрофы — если я имею теперь возможность перебраться в другой, нормальный мир? Раз-другой действительно прорывался вопрос: «А ты не жалеешь, что не уехал?» Я отвечал, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально.

На одну из таких тем у нас возник неожиданно горячий спор, и Лора сказала мужу:

— Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, на котором он сидит.

Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильной говорить о топоре, который висит над головой; от него я очень даже готов отказаться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском восемь человек вместо обычных шести, в дом, где никакой политики не могло быть.

— Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе ищите? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправдывать свое существование.

— Если бы я не уехал, я бы погиб, — сказал Гена. — Я видел документы, в которых значился вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, средства к существованию — я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать «Мертвые души». Как Тургеневу надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии.

«Литература питается не настоящим, а пережитым», — утверждал он в эссе «Ветер изгнания». Раз-другой мы с ним вели на эту тему дискуссии на радио «Свобода» и на «Немецкой волне». Я был против таких обобщений. Пушкин никуда не уезжал, Гоголь написал «Ревизора» в России. Возможно, и я при нужде смог бы в Германии работать. Не так просто было сформулировать чувство, чего мне там все же не хватает.

Странное сцепление мыслей вернуло меня к этим разговорам однажды в Москве, когда я увидел на улице испуганную сучку: прижав зад к земле, она отлаивалась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И вдруг понял, как надо уточнить эпизод рассказа, над которым тогда работал. «Литература питается не настоящим», – вспомнилось мне. Для кого как. Для такого писателя, как я, важно ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной жизни – это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кристаллизуются внезапные идеи, образы.

Была еще другая сторона проблемы, которую Хазанов ощущал болезненней, чем я: основной читатель у него, как и у меня, оставался в России. В своих письмах он не раз повторял, что не представляет себе, для кого пишет, не понимает, в чем внешний смысл его работы, – просто не может не писать.

Мы продолжали обсуждать эту тему среди многих других в нашей переписке, которая стала особенно интенсивной с появлением электронной почты. Как-то Файбусович прислал мне номера только что начавшего выходить в Германии журнала «Зарубежные записки». Публиковавшиеся здесь авторы жили в разных странах, в том числе и в России. Читая их, я чувствовал, как изменилась ситуация со времени наших дискуссий с Хазановым на «Немецкой волне» и «Свободе». Эмигранты уже не были политическими беженцами, они могли свободно приезжать в Россию, как приезжал теперь сам Файбусович, и при желании уезжать – или оставаться, как делали некоторые. «Я бы не стал говорить, как ты, что продолжают все-таки существовать две русских литературы, в метрополии и за рубежом, не вижу между текстами существенной разницы», – написал я ему (1.9.05).

Файбусович ответил мне в тот же день. «Вопрос (если он вообще существует) о двух потоках русской литературы или даже двух литературах всё же заслуживает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в частности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское прошлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, но в ещё большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В литературе «почва» – это жизненный и культурный опыт писателя. На русское детство и юность накладывается – как бы ни сопротивлялись ему – совершенно новый и неслыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмиграции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребывания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в зарубежных университетах, от туризма и гостения у живущих на Западе родственников и т. п. Психология экспатрианта – дело совершенно особое и даст себя знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Западной Европе и в России – когда оказываешься «в чреве китовом», внутри этой жизни, – всё ж таки достаточно велика, и это, конечно, отдалённость взаимная.

Само собой, в таких рассуждениях невозможно не оглядываться на самого себя, даже принимать себя – невольно – за правило, и всё же мне кажется, что тут есть и что-то общее, присущее многим. Мы с тобой слишком хорошо знаем, что главный поставщик сырья для литературного творчества – память. Всё остальное – фантазии, книги, свежие впечатления, актуальные события – лишь вспомогательный материал, не так ли? Но (как сказано в Талмуде), быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, – по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, – питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закромов памяти. Оба утверждения (вполне тривиальных) не так уж противоречат друг другу, у них есть общий знаменатель – жизненный опыт писателя, опыт, в котором все времена сплавлены.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что по существу изменилось: старые друзья остались друзьями, переулки детства всё те же, хоть и с другими вывесками; те же липы, те же дворы, те же лица, и все кругом говорят по-русски, смеются по-русски, толкаются по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит о прошлом, воскрешает детство, юность; выхватываешь из увиденного то, что носишь в себе; и кажется, что бродишь среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит только солнцу скрыться за тучей, отечество меняет свой облик, как только гость погружается в эту жизнь, ходит и ездит, и встречается с разными людьми. Он начинает понимать, что он не свой, но именно гость, и относится к нему как к гостю; про-

изошла смена местоимений; когда ему говорят: мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца. Как у Ахматовой:

...Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали...

В чём дело? А дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, – вот что хотят ему сказать. Вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, – думает он. Мы умчались вперёд, а ты опоздал на поезд и остался стоять на платформе. Твои часы показывают прошлый век. Нет, – хочет он возразить, – это мой экспресс уже давно в пути, это вы топчетесь на платформе. Обе стороны правы».

«Мое суждение о количестве русских литератур, – отвечал я ему на другой день, – основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европейцем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от всего немецкого, – но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пишешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу – от иных моих компатриотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой».

Письма Хазанова-Файбусовича – эссеистика высокого европейского уровня. Свои электронные послания ко мне он с некоторых пор стал нумеровать, их количество уже исчисляется сотнями. «Я не вёл дневников, мои письма – аналог дневника», – написал он в присланном мне эссе «Родники одиночества». Для меня же продолжающийся разговор с ним – существенная часть моей жизни.

Поздравляя своего прекрасного друга с впечатляющим юбилеем, я могу лишь слегка перефразировать слова Гете, которые любил цитировать Томас Манн: нужно мужество, чтобы так долго продержаться. Особенно, добавлю, в наше время – и в такой творческой форме.

Редакция «Зарубежных записок» тоже поздравляет с юбилеем прекрасного писателя и нашего постоянного автора Бориса Хазанова. Благодарим за сотрудничество с журналом. Желаем ему здоровья, благополучия, человеческого и творческого долголетия.